ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. А. ЖДАНОВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ТИПИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

Межвузовский сборник

ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1983

Печатается по постановлению
редакционно-издательского совета
Ленинградского университета

Сборник посвящен малоисследованной теме — выявлению (на основе обширного исторического материала и биографических сведений о конкретных политических деятелях разных времен и народов) социально-типических черт личности политического деятеля, характерных для той или иной исторической эпохи. Рассматриваются различные аспекты связи между индивидуальными и социально-типическими чертами исторической личности.

Книга рассчитана на научных работников и преподавателей — историков, философов, филологов, юристов.

Редакционная коллегия:
д-р ист. наук *В. Г. Ревуненков* (отв. ред.), д-р ист. наук *Г. Л. Курбатов*, д-р ист. наук *Э. Д. Фролов*, д-р ист. наук *К. Б. Виноградов*, д-р ист. наук *Г. Р. Левин*, канд. ист. наук *М. Н. Кузьмин*, канд. ист. наук *Ю. П. Малинин*, канд. ист. наук *Н. Е. Копосов* (отв. секр.).
Рецензент — д-р ист. наук *М. А. Коган* (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

ИБ № 1688

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Индивидуальные и социально-типические черты

Межвузовский сборник

Редактор *Н. Л. Никитина*
Художественный редактор *А. Г. Голубев*
Технический редактор *Л. А. Топорина*
Корректоры *А. С. Качинская, В. А. Латыгина*

Сдано в набор 14.03.83. Подписано в печать 14.06.83. М-41118. Формат 60>
Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. ;
Усл. кр.-отт. 7,69. Уч.-изд. л. 8,34. Тираж 9000 экз. Заказ № 129. Цена 5(
Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова. 199164, Ленинград, Университетская наб

Типография Изд-ва ЛГУ им. А. А. Жданова. 199164. Ленинград, Университетская на

П $\frac{0504000000-127}{076(02)-83}$ 24—83

Издательс
Ленинград
университ
1983 г.

©

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый вниманию читателя сборник издается по инициативе Совета молодых ученых исторического факультета при участии советов философского и юридического факультетов.

При подготовке сборника авторы исходили из того, что различным эпохам свойственны особые типы политических и государственных деятелей. Вызванные к жизни особенностями социально-экономического строя, политической структуры, идеологии и культуры того или иного общества, они в свою очередь оказывали немаловажное влияние на весь ход развития этого общества и в первую очередь — на его политическую историю. Объяснение перипетий политической борьбы, иногда даже крупных исторических событий, лишь прямым влиянием социально-экономических факторов обычно оказывается неполным. Историко-материалистическое понимание истории предполагает учет важной роли субъективного фактора. На необходимость изучения истории как деятельности «преследующего свои цели человека» указывали К. Маркс и Ф. Энгельс (Соч., т. 2, с. 102). Однако субъективный фактор невозможно свести к индивидуальным особенностям отдельных исторических персонажей. Гораздо существеннее выявить их социально-типические черты, специфику политической практики. Эта область остается пока малоисследованной, хотя плодотворность ее изучения была наглядно продемонстрирована блестящими работами Я. Буркхардта, И. Хейзинги, Е. В. Тарле, С. Л. Утченко и др. Возможно, это отчасти объясняется тем, что наши источники, особенно для отдаленных эпох, зачастую не дают достаточного материала для того, чтобы судить о подлинных мотивах действий тех или иных исторических лиц. Историк обычно узнает лишь то, что ему хотели сказать, но не действительные помыслы его героев. Не всегда удается «прорваться»

сквозь источники и расчистить скрытый в них пласт исторической реальности. Опасаясь поддаться обману источников, исследователь неизбежно руководствуется собственным здравым смыслом, подсказывающим ему те или иные мотивы политических акций. Не каждому удается при этом сохранить чувство меры и избежать самой страшной ошибки историка — анахронизма. Иногда же, напротив, стремление не допустить эту ошибку приводит историка к другой — к чрезмерной доверчивости к словам своих героев. Все это делает необходимым систематическое изучение политической практики прошлого. История политических идей является признанным объектом исследования, и их эволюция не вызывает сомнений. Но для того чтобы всесторонне уяснить эволюцию Homo politicus, за человеком, думающим о политике, надо искать черты человека, делающего политику. Главная сложность, следовательно, состоит не в теоретической неясности вопроса, а в чисто практических трудностях ремесла историка.

Настоящий сборник представляет собой попытку на конкретном историческом материале показать некоторые характерные черты политических деятелей прошедших эпох, связь с условиями места и времени деятельности, а по возможности и то влияние, которое особенности политической теории и практики той или иной эпохи оказывали на ход истории.

В книгу включены статьи, посвященные различным странам и эпохам всемирной истории, а также типам политических деятелей. Речь пойдет о лидерах афинской демократии и римских императорах, вождях завоевателей-варваров и крестовых походов (пожалуй, наиболее специфически средневекового движения), государственных деятелях эпохи Возрождения и абсолютизма, политиках времен буржуазных революций и парламентских республик. Авторы (в большинстве своем молодые, начинающие ученые) не претендуют ни на то, чтобы показать все, хотя бы основные типы политиков прошлого, ни даже на то, чтобы всесторонне охарактеризовать затронутые типы. В сборнике представлены как попытки таких обобщающих характеристик, так и исследования частных вопросов истории политической практики. Статьи различны также и по подходу к проблеме: одни посвящены соотношению политических концепций и конкретной практики государственных деятелей, другие — профессиональной психологии политиков, третьи — функционированию государственных учреждений и административным традициям и т. д. Одни авторы дают индивидуальные, другие — групповые портреты политических деятелей. Редколлегия полагает, что наличие нескольких подходов вполне оправданно, коль скоро главный смысл сборника — в методическом поиске.

Насколько коллективу авторов удалось осуществить намеченное, судить читателю.

Несколько слов в объяснение состава сборника. При под-

боре статей редколлегия стремилась, с одной стороны, показать особенно характерные типы государственных деятелей той или иной эпохи, с другой — сделать это не только на «классических», но и на менее известных и в то же время ярких примерах. Античность представлена в сборнике статьями о лидерах греческого полиса (на разных этапах его развития) и о правителях Римской империи — двух наиболее типичных форм рабовладельческой государственности. Из истории средних веков взяты сюжеты о формировании раннефеодального государства (по хорошо сохранившемуся скандинавскому материалу), о поздней Византии и о возникновении централизованной монархии в ее классическом французском образце. По новой истории имеются статьи о деятелях французского абсолютизма и о консервативном лидере американской буржуазной революции А. Гамильтоне, о британских дипломатах XIX в. и о родоначальниках американского экспансионизма, наконец, о выдающемся революционере О. Бланки, об основоположнике марксистской тенденции в Италии А. Лабриоле и о лидере французских радикалов Э. Эррио. Разумеется, в рамках небольшого сборника невозможно рассказать о всех типах государственных деятелей прошлого. Наш выбор был ограничен также наличием источников и степенью изученности некоторых интересующих нас сюжетов (например, о вождях народных восстаний древности и средневековья). Все же полагаем, что в рамках возможного сборник освещает основные аспекты избранной темы.

Э. Д. Фролов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
(опыт типологической характеристики)

Античная демократия, и в частности демократия в древних Афинах, должна рассматриваться как первый опыт политического устройства такого рода в мировой истории. Ценность опыта античности не подлежит сомнению. Достаточно напомнить о том внимании, с каким относились к античному наследию основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс. Обращаясь к исследованию одного из важнейших вопросов политической теории — вопроса о возникновении государства, Ф. Энгельс подчеркивал образцовость античного, в первую очередь афинского, материала. «Возникновение государства у афинян, — писал он, — является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, — кратковременная узурпация власти Писистратом не оставила никаких следов, — с другой стороны, потому, что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества, и, наконец, потому, что нам достаточно известны все существенные подробности образования этого государства» (1, т. 21, с. 119).

Разумеется, с тех пор, как Ф. Энгельсом были написаны эти строки, наука об античности сильно раздвинула свои горизонты. Были предприняты попытки показать конструктивную роль старшей тирании (9, ч. 1, с. 110—117, 147—160; 7, с. 70—74, 123—126; 8, с. 49—64); исследования микенологов убедительно показали существование древнейшей цивилизации на территории Греции, в частности и Афин, еще во II тыс. до н. э. (3, с. 150 сл.). Тем не менее существенное в наблюдениях Ф. Энгельса сохраняется в полной силе: вновь явившееся к жизни, после временного захирения на рубеже II—I тысячелетий до

н. э., государство в Афинах довольно скоро, в ходе социальных смут и преобразований VII—VI вв. до н. э., отлилось в совершенную форму демократической республики, которая благодаря своим политическим и культурным достижениям и обусловленному этими последними интенсивному письменному творчеству надолго осталась образцом государственности вообще.

Надо, однако, подчеркнуть, что демократия в Афинах была формой именно античного государства, полиса, где привилегированное меньшинство — уроженцы страны, собственно афиняне, организованные в корпорацию граждан, — противостояло гораздо большей массе угнетенного и бесправного или неполноправного населения — рабам-чужеземцам и переселенцам из других греческих городов, а в классический период (V в. до н. э.) — еще и массе зависимых от афинян союзников. Иными словами, афинская демократия была формой организации классово и сословно ограниченного гражданского общества и уже в силу этого своего сословно-классового характера должна была отличаться рядом таких свойств, которые должны наводить на мысль о ее исторической ограниченности и служить предостережением против излишней ее идеализации (что и подчеркивается вполне справедливо в советской исторической литературе: 11, с. 42—43, 58—60; 6, с. 219—220; 7, с. 197—199). Более того, даже в собственном своем качестве демократии для граждан она обнаруживает наряду с несомненно сильными сторонами (разработанное гражданское право, суверенность власти гражданского коллектива, система социальных гарантий для принадлежащих к этому коллективу и пр.) еще и такие, которые свидетельствуют о ее ущербности и заставляют еще раз критически переосмыслить ее опыт.

Мы имеем в виду прежде всего то своеобразное положение, которое сложилось в классических Афинах в отношениях между господствующей демократией, суверенной гражданской массой и ее политическими лидерами. Аристократическое качество политических вождей афинской демократии и обусловленные этим их непомерные претензии порождали расхождение и конфликты между этими вождями и руководимым ими народом, создавали опасную трещину в самом фундаменте афинского демократического полиса, для заделывания которой гражданскому коллективу приходилось прибегать к слишком сильным средствам, в свою очередь чреватым тяжелыми последствиями. Чтобы судить о природе и значении этого явления, полезно будет несколько вернуться вспять, к ранним этапам формирования афинского демократического полиса. Мы убедимся тогда, что эта опасная тенденция искони была присуща афинскому обществу. Строителями афинского полиса она была до времени приглушена, но не искоренена вовсе, и в исторических условиях V в. до н. э., стимулировавших инициативу политически значимой личности, эта тенденция вновь пробудилась к жизни.

Хорошо известно, что классическая цивилизация греков родилась в ходе социальных смут VIII—VI вв. до н. э., вследствие стихийных выступлений народа против знати, благодаря социально-политическим преобразованиям, которые отвечали таким первоочередным требованиям формирующейся демократии, как запрещение кабального рабства, передел земли и политическое равноправие. Однако замечательная особенность этого процесса состояла в том, что достижение его конечной цели — создание гражданского общества, полиса — было осуществлено столько же стихийной борьбой народных масс, сколько и сознательными усилиями тех более развитых и более дальновидных представителей аристократии, которые примкнули к демократическому потоку и направили его в русло реформы (подробнее этот вопрос рассмотрен нами в другой работе: 13, с. 17—34). Их стараниями был достигнут в конце концов тот социальный компромисс, то согласие граждан, которое путем обоюдных уступок и взаимных обязательств сцементировало грозившую непоправимо распасться древнюю народную общность и стало непременным условием ее дальнейшего существования в качестве привилегированной сословно-классовой корпорации, противостоящей прочей массе чужеземцев.

Важными способами, или формами, достижения этого согласия явились, с одной стороны, утверждение определенного кодекса гражданской морали, суть которого сводилась к требованию соблюдать известную меру, не переходить разумной грани (знаменитое meden agan — «ничего слишком»), а с другой — культ закона как правового воплощения этой морали. Именно на утверждение этих принципиальных устоев полиса было направлено политическое творчество первого хорошо нам известного афинского демократического лидера Солона.

Отпрыск знатного, некогда даже царского рода, но вместе с тем уже человек новой формации, купец, путешественник и поэт, Солон как нельзя лучше подошел на роль социального посредника и устроителя. Осуществленные им в Афинах в 594 г. до н. э. реформы заложили фундамент нового гражданского общества. Запрещением долговой кабалы, реальным переделом собственности (вследствие возвращения крестьянам заложенных за долги земель), воссозданием или созданием заново демократических органов власти (народного собрания, Совета 400 и суда присяжных) Солон и в самом деле способствовал оформлению охваченного смутами и расколотого на враждебные группировки афинского общества в правильный демократический полис. При этом он вполне сознательно проводил в жизнь принципы гражданского согласия и гарантирующего его правопорядка. На нападки радикально настроенных групп,—а критика его политики социального компромисса велась и слева, и справа, — он горделиво отвечал:

Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен —
Не сократил его прав, не дал и лишних зато.
Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством
Славился, — чтоб никаких им не чинилось обид.
Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая,
И никому побеждать не дал неправо других.
(фр. 5 Диль,[3] здесь и ниже перевод С. И. Радцига)

Прославлению правопорядка — «благозакония» поэт-реформатор посвятил проникновенные стихи:

Сердце велит мне поведать афинянам эти заветы:
Что беззаконье несет городу множество бед,
Но что законность во всем и порядок, и лад водворяет,
Да и преступным она на ноги путы кладет...
(фр. 3 Диль[3])

Славя благую силу общего для всех закона, видя в нем спасительную узду для непомерной спеси (hybris) честолюбивых политиков, Солон имел право сослаться на свой пример. В позднейших своих стихах он похвалялся тем, что, обладая практически неограниченными полномочиями, остался верен своему назначению и сознательно пренебрег возможностью узурпировать единоличную власть:

...Мне равно не по душе —
Силой править тирании, как и в пажитях родных
Дать худым и благородным долю равную иметь.
(фр. 23 Диль[3])

Солон в Афинах заложил основы полисного строя и полисной морали, одна из которых имела особенное значение для придания политической жизни надлежащего порядка и устойчивости: это принцип безусловного подчинения человека закону, ответственности любого гражданина, и политического деятеля в особенности, перед общиной, перед полисом.

Однако состав афинского гражданства был еще слишком неоднороден, слишком выделялись еще своим значением отдельные знатные роды и слишком неразвита была еще в политическом отношении масса демоса, чтобы социально-политическое развитие определялось всецело новыми полисными нормами. Показательно, что как раз после Солона на протяжении многих десятилетий политическая жизнь в Афинах характеризовалась авторитетным выступлением сверхличности (на это правильно было указано Г. Берве: 15, с. 232 сл.). В 560 г. до н. э. честолюбивый афинский аристократ, вождь целой группировки Писистрат из рода Нелеидов в борьбе с двумя другими соперничающими кланами во главе с Мегаклом из рода Алкмеонидов и Ликургом из рода Этеобутадов, более последовательно использовав приемы социальной демагогии и с ее помощью прочнее привязав к себе широкие массы демоса, в первый раз добился единоличной власти в Афинах (о природе и характере писистратовского выступления ср. верные сужде-

ния К. К. Зельина: 5, с. 148 сл., 185 сл.). И хотя его дважды затем изгоняли из государства, он упорно возвращался и в последний раз (ок. 545 г. до н. э.) не только окончательно утвердился у власти, но даже сумел передать ее по наследству своим сыновьям (их правление продолжалось с 527 до 510 г. до н. э.).

В нашу задачу не входит оценка объективных последствий тиранического правления Писистрата и Писистратидов. Можно, впрочем, согласиться с теми современными учеными, которые в нивелирующем деспотизме Писистрата и его сыновей, принизивших знатные роды, как и в аналогичных действиях других старших тиранов, видят своеобразную, так сказать, негативную предпосылку демократического равенства и в связи с этим оценивают их режим как важный момент в предуготовлении окончательного торжества демократии (ср.: 17, с. 166; 16, I, с. 165—166). Нам важно, однако, в связи с Писистратом подчеркнуть другое: существенную роль аристократической сверхличности, явившейся на авансцену политической борьбы после и вопреки установлениям Солона и в то же время действовавшей — по-своему, конечно, и скорее вынужденно, чем намеренно — как бы в развитие солоновского принципа.

Но и после свержения ставшей в конце концов для всех слишком тягостной тирании и восстановления республиканской и демократической формы правления не исчезли совершенно возможности для развертывания личной инициативы, для авторитетного выступления честолюбивых политиков из среды аристократов. При этом и теперь наблюдалось любопытное единство и вместе с тем расхождение между личной волей и объективным делом таких политиков. Выдвинувшийся на передний план во время борьбы с Писистратидами, а особенно после их устранения Алкмеонид Клисфен объективно, по характеру и последствиям осуществленных им в 508 г. преобразований, был прямым продолжателем дела Солона. Более того, именно его и считают по праву родоначальником демократии: если Солон заложил общие основы полисного строя в Афинах, то Клисфен окончательно придал ему демократическую форму (ср.: 4, с. 80—81, 9, с. 163—165). И самое главное: при нем демократия получила сильнейшие гарантии против необузданности знатных кланов и отдельных личностей. Силу первых должна была подорвать административно-территориальная реформа Клисфена, имевшая в виду раздробление родов между новыми территориальными подразделениями (триттиями и филами), а против непомерного возвышения личности был направлен также учрежденный Клисфеном предупредительный «суд черепков» — остракизм.

Однако знаменательно, что проведение Клисфеном важных государственных преобразований было обусловлено не только и даже на первых порах, может быть, не столько широкими

демократическими устремлениями реформатора, сколько более частной, личной причиной — соперничеством его с другим влиятельным аристократом Исагором и необходимостью в борьбе с сильным противником опереться на поддержку народа. Это подчеркивается уже в рассказе Геродота: «Эти лица вели между собою распри из-за преобладания, пока побежденный Клисфен не привлек на свою сторону народ» (Hdt., V, 66, пер. Ф. Г. Мищенко). Разумеется, не забывая о том, что непосредственным исходным моментом деятельности Клисфена было честолюбивое соперничество с себе подобными из-за власти, мы не должны ставить под сомнение принципиальный характер содеянного им, отрицать объективную демократическую сущность осуществленных им реформ. Мы только должны помнить, что величие Клисфена как политика состояло не в изначальном демократическом устремлении, а в гениальном постижении и реализации объективно необходимых задач в ходе развязанной личным честолюбием борьбы. Отлично по этому поводу сказано у Г. Бенгтсона: «Клисфеновский новый порядок родился из нужд сиюминутной политики. Но если он, тем не менее, своим лицом обращен в будущее, то это отличает его как творение поистине государственного ума» (14, с. 143; ср. также: 5, с. 154 сл.; 10, с. 99—106).

Так или иначе, рассматривая главные этапы формирования афинского демократического полиса в VI в. до н. э., мы можем констатировать разительный факт: утверждение демократии в Афинах свершалось в силу вполне объективных тенденций, в ходе развивавшейся по своим законам борьбы демоса со знатью, но конкретные достижения на этом пути обусловливались каждый раз личной инициативой примыкавших к демосу (по более или менее принципиальным соображениям) и возглавлявших его движение аристократов. Более того, даже и после Клисфеновых реформ, казалось, оформивших самое здание демократии, политическая жизнь в Афинах по-прежнему отличалась этой удивительной особенностью — выдающимся значением политических лидеров, происходивших из аристократии, активно действовавших в условиях демократического государства и пытавшихся служение демократии сделать ступенью к собственному превосходящему всякую меру возвышению. Эта несоединимость объективных условий и личных побуждений неизбежно приводила к конфликту между государством и политиком, что в классический период, когда гражданская община была достаточно едина и сильна, почти всегда завершалось падением личности.

Эта ситуация была столь стандартной, что уже в древности, в особенности в литературе антидемократического направления, возникло и распространилось представление об особой завистливости и нетерпимости к чужой славе афинского народа, который будто бы в силу этих своих качеств постоянно

«подкапывался» под собственных вождей, преследовал их судебными процессами, изгонял либо так или иначе заставлял удаляться из отечества. Отличавшийся своей неприязнью к афинской демократии историк Феопомп (IV в. до н. э.) писал: «Ведь они (афиняне. — *Э. Ф.*) ко всем относятся с неприязнью, вследствие чего и предпочитали прославленные у них мужи проводить жизнь вне своего города: Ификрат — во Фракии, Конон — на Кипре, Тимофей — на Лесбосе, Харет — в Сигее, а <...> Хабрий — в Египте» (Theopomp. ap. Athen., XII, 43, p. 532 b=FgrHist 115 F 105).

Феопомпу вторят позднейшие писатели Корнелий Непот и Плутарх. Первый по поводу осуждения Мильтиада замечает: «Хотя он был обвинен за дело с Паросом, но причина осуждения крылась в другом. Ведь афиняне из-за тирании Писистрата, бывшей за несколько лет до того, боялись могущества любого из своих граждан» (Nepos. Milt., 8, 1). В свою очередь, Плутарх, объясняя остракизм Фемистокла желанием сограждан «уничтожить его авторитет и выдающееся положение», присовокупляет к этому характерное замечание общего плана: «так афиняне обыкновенно поступали со всеми, могущество которых они считали тягостным для себя и несовместимым с демократическим равенством» (Plut. Them., 22, 4, пер. С. И. Соболевского).

Разумеется, нас не могут удовлетворить объяснения такого рода — общие, неглубокие, носящие характер литературного, и притом тенденциозного, штампа. Отмеченное уже древними явление требует более объективного и более основательного истолкования, тем более, что очевидно, насколько от этого зависит правильное понимание природы и характера античной демократии вообще. Ввиду этого необходимо остановиться несколько подробнее на деталях избранного нами сюжета: афинские политические лидеры в их отношении к господствующей демократии. Материалами при этом будут служить главным образом данные античных писателей — историков Геродота, Фукидида, Диодора и близких к ним по жанру Корнелия Непота и Плутарха. Общая линия исследования намечена работой Г. Берве (15, с. 232—267); однако если немецкого ученого интересовало преимущественно воздействие аристократической личности на складывавшийся полис, то наше внимание будет направлено скорее на реакцию уже сформировавшейся демократии на чрезмерное возвышение отдельных лидеров и в этой связи на судьбы как политиков, так и самой афинской демократии.

Начать надо с констатации важного исходного момента: как и в предшествующее столетие, политическими лидерами афинской демократии в V в. по-прежнему оставались выходцы из аристократической среды. К знатному роду Филаидов принадлежал победитель персов при Марафоне Мильтиад. Его

родословная и его карьера вообще отличались особенным блеском. Отец его Кимон, сын Стесагора, трижды был победителем в традиционном аристократическом агоне — состязании колесниц на Олимпийских играх. Дядя — Мильтиад, сын Кипсела, — также был олимпиоником. Позднее из нежелания подчиняться Писистрату Мильтиад Старший покинул Афины и, утвердившись с группой афинских колонистов на Херсонесе Фракийском, стал там владетельным князем, или, как предпочитали говорить греки, тираном. Ему наследовали сыновья его единоутробного брата — вышеупомянутого Кимона: сначала Стесагор, а затем Мильтиад, которого лишь персидское наступление заставило в 493 г.* возвратиться в Афины. Три года спустя он отличился как фактический командующий афинян при Марафоне.

Соратником Мильтиада был Аристид, сын Лисимаха, из знатного рода Кериков. В 80-е годы он заслужил известность своей оппозицией Фемистоклу, позднее командовал афинским отрядом в битве при Платеях (479 г.) и вместе с Кимоном, сыном победителя при Марафоне, стал одним из создателей Афинского морского союза. Представитель более радикального направления, инициатор морского вооружения Афин и герой Саламинской битвы, Фемистокл, хотя и был сыном чужеземки (может быть, даже негречанки), по отцу, — а это только и было важно в ту пору — происходил из почтенного афинского рода Ликомидов. Наконец, прославленный многолетний руководитель афинской демократии Перикл также принадлежал к высшей знати: по отцу — к роду Бузигов, а по матери (она была племянницей знаменитого реформатора Клисфена) — к еще более известным Алкмеонидам.

Знатностью происхождения афинских политических лидеров естественно определялась социально-политическая заданность их деятельности. Семейные связи, унаследованные от предков горделивые притязания на первенство, наконец, самое воспитание в традициях аристократического честолюбия, то, что в современной зарубежной литературе нередко обозначается как агональный дух, — все это ориентировало их на борьбу за первенство с другими, себе подобными. Существенным нюансом, отличавшим, однако, эти «агональные» устремления афинских аристократов в классический период от времени архаики, было то, что борьбу эту приходилось вести в условиях уже утвердившегося демократического строя и успеха можно было добиться лишь при поддержке суверенного демоса. Характерными примерами могут служить выступления Перикла сначала против Кимона, а затем против его зятя, перенявшего от него руководство консервативной группировкой, Фукидида, сына Мелесия. Как бы мы ни относились к деталям повествований древ-

* Здесь и далее — до нашей эры.

них авторов об этой борьбе (в расчет идут прежде всего свидетельства Аристотеля в «Афинской политии» и Плутарха в его жизнеописаниях Кимона и Перикла), очевидной является большая роль во всей этой истории и личного соперничества, как изначального или стимулирующего момента, и позиции гражданской массы, определившей исход агона в пользу более сообразовавшегося с ее интересами Перикла.

Всем этим закономерно обусловливалась как реальная ориентация, так и образ действий афинских политиков. Претензия на лидерство оборачивалась необходимостью так или иначе служить державным интересам демоса. И действительно, у всех афинских политиков V в., как радикального, так и консервативного направления, можно отметить эту важную черту: их положение реальных политических лидеров зависело от степени их усилий и заслуг в защите государственного дела афинян, т. е. дела демократии. Претендуя на первенство в государстве, чье спасение, а затем могущество стояли в прямой зависимости от военных успехов, они должны были иметь в своем послужном списке, как минимум, заслуги на поле брани. Так, Мильтиаду славу принесла победа при Марафоне, Фемистоклу — дальновидная морская программа и обусловленные ею успехи в отражении Ксеркса, Аристиду — участие в сражениях при Марафоне, Саламине и Платеях и т. д.

Но если они претендовали на большее, чем на скоро проходящую популярность военных героев, то им необходимо было выдвигать и осуществлять политические программы, имевшие в виду укрепление самого здания афинской демократии. Если лидер радикального направления Фемистокл мог укрепить свой авторитет проведением упомянутой морской программы, имевшей не только военное, но и социально-политическое значение (в связи с повышением роли обслуживавшего флот низшего сословия фетов), то на счету более консервативного Аристида было, если верно предположение некоторых ученых, осуществление реформы избирательной системы (2, т. I, с. 286—287), а на совместном счету Аристида и Кимона — первоначальное устроение Афинского морского союза. Наконец, основанием невероятного успеха Перикла, на протяжении многих лет единолично направлявшего афинский государственный корабль, было проведение широкой социальной программы, включавшей в интересах различных слоев афинского народа и вывод военно-земледельческих колоний, и организацию больших строительных работ, и устройство зрелищ, и раздачу денег для самых низов гражданского населения и пр.

С другой стороны, и самая манера публичной жизни таких политиков, стиль их общественной деятельности по необходимости отличались подчеркнуто демократическим характером. Ради вящей популярности они заигрывали с народом, причем не гнушались никакими уловками и ухищрениями, выступая

зачинателями того демагогического стиля, непревзойденными мастерами которого стали позднее в Риме нобили известного сорта, за которыми и закрепилось характерное название популяров. Уже Фемистокл, по свидетельству Плутарха, нравился народной массе не только потому, что в качестве официального лица мог беспристрастно вести суд, но и потому, что «на память называл по имени каждого гражданина» (Plut. Them., 5, 6). В свою очередь, Кимон, которому заботиться о популярности приходилось вдвойне — и как аристократу, и как известному лаконофилу, показывал пример широкой частной благотворительности: предоставлял всем желающим право беспрепятственно пользоваться плодами в его садах, угощал своих земляков (по дему) ежедневными обедами, раздавал беднякам платье и деньги (Arist. Ath. pol., 27, 3; Plut. Cim., 10, 1—4).

Искусственность, демократическая аффектация в поведении честолюбивого аристократа, стремившегося достичь положения политического лидера в Афинах, могут рассматриваться как указание на скрытую возможность расхождения и конфликта между таким политиком и демократическим обществом постольку, поскольку в какой-то момент этот аристократ мог забыться и дать волю своим природным склонностям. Прослеживая карьеру афинских политических лидеров, мы без труда убеждаемся в правильности такого заключения.

В самом деле, реализации своих природных честолюбивых устремлений знатные афиняне могли добиться в условиях демократического строя только одним путем — посредством официального назначения, или избрания, на высшую государственную должность (архонта или стратега). Преувеличивать значения знати во всяком случае не следует, и когда Г. Берве, любующийся могуществом греческих политиков-аристократов, утверждает, что «в отличие от того, как это было в Риме, в греческом городе-государстве занятие должностей играло лишь второстепенную роль» (15, с. 246), то он безусловно грешит против исторической правды. Все без исключения афинские лидеры, вышедшие из среды аристократии, должны были утвердиться в высшей должности — это было непременным условием и предпосылкой их возвышения. Так, Мильтиад в 490 г., накануне Марафонской битвы, был одним из стратегов. Его коллегой по должности был Аристид, который в следующем году стал архонтом-эпонимом. Фемистокл выступает из мрака неизвестности в качестве архонта-эпонима в 493 г., а в год нашествия Ксеркса он был одним из стратегов. Неоднократно исполнял должность стратега Кимон, а о Перикле известно, что он после устранения Фукидида 14 лет подряд избирался в стратеги и на фактическом первенстве в этой важнейшей коллегии основывал свое руководящее положение в государстве.

Однако официальное назначение на должность не только

служило мостом к возвышению, но и ставило предел — именно своим официальным характером — чрезмерному усилению политика. Естественно было поэтому стремление честолюбивых деятелей преодолеть этот барьер, использовать назначение на высокую должность как ступень к дальнейшему не предусмотренному законом возвышению. Это стремление было тем более понятно, что награды, получаемые политиками от демократического государства, носили достаточно символический характер (как, например, позволение Мильтиаду быть изображенным на картине, посвященной Марафонскому бою, на переднем плане, впереди других стратегов. — Nep. Milt., 6) и, стало быть, не могли погасить их непомерное честолюбие. Правилом поэтому было злоупотребление властью или положением и, как следствие этого, перерождение — или тенденция к перерождению — республиканского магистрата из высокого слуги народа в фигуру княжеского типа.

Можно выявить несколько линий, или форм, такого перерождения. Здесь и развитие непомерного самомнения, побудившего, например, Фемистокла соорудить в память о поданных им благих советах специальное святилище Артемиды Аристобулы, т. е. буквально «Лучшей советницы» (Plut. Them., 22, 2—3), и откровенное использование высокого должностного положения для личного обогащения, как это было в случае с тем же Фемистоклом (вымогательства у островитян — Hdt., VIII, 111—112; о нажитом Фемистоклом огромном состоянии см.: Thuc, 1, 137, 3; Plut. Them., 25, 3, со ссылками на Феопомпа и Феофраста; Aelian. V. h., X, 17, со ссылкой на Крития), и наконец, стремление, опираясь на мощь собственного государства, обзавестись личным доменом, как это пытался сделать Мильтиад Младший, предпринявший в 489 г. — за счет и силами Афинского государства — нападение на Парос с целью создать себе здесь новое княжество взамен утраченного на Херсонесе Фракийском (Hdt., VI, 132—136; Nep. Milt., 7; для оценки ср. здесь безусловно верные суждения Г. Берве — 15, с. 247—249).

К этому же разряду действий, направленных на расширение или сохранение личного могущества, надо отнести также и достаточно распространенный обычай афинских политиков подкреплять или подстраховывать достигнутое высокое положение личными связями с иноземными правителями или целыми государствами. Так, дом Мильтиада был связан династическими узами с фракийскими царями (женой Мильтиада и матерью Кимона была Гегесипила, дочь фракийского царя Олора — Hdt., VI, 39; Plut. Cim., 4, 1). Фемистокл имел свои, особые отношения с рядом греческих общин; в частности, на Керкире его почитали как благодетеля — эвергета (Thuc., 1, 136, 1; Plut. Them., 24, 1). Позднее, в бытность свою в изгнании, когда ему со всех сторон стала угрожать опасность, Фе-

мистокл вступил в прямую связь с персидским царем, который предоставил ему убежище и выделил несколько городов в ленное владение (Thuc., 1, 135—138; Diod., XI, 54—59; Plut. Them., 23 сл..; Nepos. Them., 8 сл.). И еще один пример — Кимон. Он, как известно, состоял в отношениях официального гостеприимства с общиною спартанцев (был их проксеном — Theopomp., FgrHist 115 F 88; Nepos. Cim., 3, 3; ср. Plut. Cim., 14, 4), чем при случае пользовались его соотечественники, но что вызывало у них еще больше подозрений.

Следствием этих тенденций в деятельности афинских политических лидеров было развитие более или менее резких расхождений между ними и гражданской общиной, которую всякий раз пугало непомерное возвышение отдельной личности. Возникавшие таким образом конфликты обычно разрешались судебными процессами, влекшими за собой, как правило, падение соответствующего политика. Прослеживая судьбы выдающихся государственных деятелей в Афинах, мы неизменно наталкиваемся на эти роковые для них конфликты с собственной общиной. Причем чаша эта не миновала буквально ни одного из видных политиков классического времени. Иногда тому или иному деятелю удавалось выйти победителем из навязанной ему тяжбы, но это было лишь временной отсрочкой — трагический финал все равно был предопределен.

Обращаясь к конкретным примерам, начнем с первого — с Мильтиада. Едва вернувшись в 493 г. в Афины, он сразу же был привлечен к суду по напрашивавшемуся обвинению — из-за тирании на Херсонесе. В этот раз ему удалось избежать опасности: обвинение было снято, и вскоре он даже был избран в стратеги (Hdt, VI, 104). Однако стоило только ему оступиться и смертельная опасность снова нависла над его головой. В 489 г., на следующий год после Марафонского сражения, в котором Мильтиад так блестяще отличился, он затеял экспедицию на Парос. Соотечественникам он посулил богатую добычу, но истинной целью похода, как уже указывалось, было стремление полководца, пользуясь своим государством как инструментом, выкроить для себя на островах Эгеиды новое княжество. Очевидно, об этом догадывались, и, когда экспедиция завершилась провалом, героя Марафонской битвы немедленно привлекли к суду по обвинению в обмане сограждан. И хотя при окончательном голосовании народ отклонил требование обвинителей, — а главным среди них был Ксантипп, отец Перикла, — о смертной казни, тем не менее Мильтиад был присужден к огромному штрафу в 50 талантов. Он умер от раны, полученной на Паросе, не успев выплатить этих денег, однако штраф остался за его домом и позднее необходимая сумма была внесена в казну сыном Мильтиада Кимоном (Hdt., VI,

132—136; ср. Diod., fr. X, 29 и 31; Plut. Cim., 4; Nepos. Milt., 7; Cim., 1).

Сподвижник Мильтиада Аристид, хотя и не отличался никакими княжескими замашками и даже заслужил почетное прозвище Справедливого, тем не менее также, по крайней мере однажды, подвергся народному осуждению: в 482 г. он был подвергнут остракизму. Правда, осуждение Аристида было инспирировано Фемистоклом, которому для успешного осуществления намеченной морской программы важно было устранить авторитетного противника, отстаивавшего, несомненно с консервативных позиций, традиционную ориентацию государства на сухопутные вооружения, на фалангу гоплитов-землевладельцев. Однако вполне вероятно, что свою роль здесь сыграла именно необычная авторитетность Аристида, которая массе простого народа могла казаться чрезмерной. Отголосок этих настроений чувствуется в передаваемом древними авторами анекдоте. «Рассказывают, — пишет Плутарх, — что когда надписывали черепки (они служили своеобразными бюллетенями. — *Э. Ф.*), какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстречу, — черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. „Нет, — ответил крестьянин, — я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый" да „Справедливый"!..." Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок» (Plut. Arist., 7, пер. С. П. Маркиша; ср. Nepos. Arist., 1).

Не избежал общей участи и противник Аристида Фемистокл, судьба которого была особенно трагична. Вознесенный на вершину славы выдающимися услугами, оказанными им общему делу эллинов в год нашествия Ксеркса, он в последующие годы, предвидя неизбежную борьбу за первенство в Элладе, много делал для особенного вооружения своего родного города Афин. Однако его радикальная политика опережала время, в особенности в условиях обозначившегося в годы решающих схваток с персами влияния военной, лаконофильствующей знати и ее оплота — Совета Ареопага. С другой стороны, чрезмерность славы, авторитета и неизбежных злоупотреблений своим высоким положением, все вольные и невольные нарушения Фемистоклом диктуемой полисом нормы возбуждали против него недоброжелательство в широких слоях гражданства. Результатом явился остракизм Фемистокла в 471 г., а затем, когда, в бытность его уже в изгнании, обнаружилась его причастность к делу спартанского полководца Павсания, готовившего при поддержке персов политический переворот, Фемистоклу уже открыто были предъявлены тяжкие обвинения в измене. Отказавшись предстать перед судом афинян и остальных эллинов, герой Саламинской битвы должен был скры-

ваться от ищеек и в конце концов искать приюта там, где и следовало ожидать, — при дворе персидского царя (Thuc., 1, 135—138; Diod., XI, 54—59; Plut. Them., 22 sqq.; Nepos. Them., 8 sqq.).

В свою очередь, и несомненно причастный к устранению Фемистокла сын Мильтиада Кимон неоднократно подвергался в Афинах преследованиям. Первый раз (приблизительно в 463 г.) он был привлечен к суду по обвинению в том, что, завоевав Херсонес и усмирив фасосцев, мог произвести победоносное вторжение в Македонию, но не сделал этого, будучи подкуплен македонским царем. При этом одним из обвинителей выступал наследственный враг дома Мильтиада, тогда еще только начинавший свою карьеру Перикл (Plut. Cim., 14, 3—5; Per., 10, 6; ср. Arist. Ath. pol., 27, 1). В этом деле Кимон добился оправдания, но два года спустя, когда обнаружилась несостоятельность его проспартанской политики, — оказанная афинянами, по побуждению Кимона, помощь Спарте против восставших илотов была оскорбительным образом отвергнута, — его постиг остракизм (в 461 г., Plut. Cim., 17, 3; Per., 9, 5; Nepos. Cim., 3, 1). Правда, он был возвращен из изгнания раньше срока (Theopomp., FgrHist., 115 F 88; ср. Plut. Cim., 17, 8; Per., 10, 3—4; Nepos. Cim., 3, 2—3), но с тем первенствующим положением, которого он добился на рубеже 70—60-х годов, было покончено. Позже зять и преемник Кимона по руководству консервативной группировкой Фукидид, сын Мелесия, пытался создать настоящую сплоченную партию олигархов, однако афинская демократия, возглавляемая Периклом, пресекла это опасное начинание: в 443 г. Фукидид также был подвергнут остракизму (Plut. Per., 14,3).

Дольше всех удерживался на вершине афинской политической пирамиды Перикл. Он выступил на авансцене политической жизни Афин еще в 60-е годы. Начинал он как политический противник Кимона и соратник Эфиальта, который в ту пору возглавлял борьбу демократов с консерваторами и лаконофилами и их оплотом — Ареопагом. После убийства Эфиальта (461 г.) Перикл практически стал единоличным лидером афинской демократии, а после изгнания Фукидида, как уже отмечалось, он на долгий срок стал фактическим главой Афинского государства, из года в год переизбираясь на должность стратега. Эта необычная при древних демократиях практика, неоспоримость и несравненность авторитета Перикла дали повод уже современникам отзываться о сложившейся тогда в Афинах системе как о своеобразном режиме личной власти. «По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину», — таков был заключительный вывод историка Фукидида (II, 65, 9, пер. Ф. Г. Мищенко, С. А. Жебелева).

Суждение Фукидида в целом выдержано в объективных и

благожелательных тонах. Однако не было недостатка и в критических отзывах, исходивших от тех, кто в необычном положении Перикла видел нарушение полисных, республиканских норм. Сопоставление правления «первого гражданина» с тиранией было общим местом в древней комедии. Достаточно сослаться в этой связи на Плутарха, в распоряжении которого еще была едва ли не вся литература V в. Писатель сопоставляет с положительным отзывом Фукидида «злобные выходки комиков, которые называют его (т. е. Перикла) друзей новыми Писистратидами, а от него самого требуют клятвы, что он не будет тираном, так как его выдающееся положение несообразно с демократией и слишком отяготительно» (Plut. Per., 16, 1, пер. С. И. Соболевского).

В 30-х годах, когда дело шло к глобальному столкновению между Афинской державой и возглавляемой Спартой Пелопоннесской лигой, авторитетное положение Перикла, грозившее в этих условиях еще более усилиться, стало все больше вызывать недовольство — как в традиционно враждебных ему кругах консерваторов и лаконофилов, так и у части демократов. Эти оппозиционные настроения нашли выход в серии процессов против людей из окружения Перикла: против его духовного наставника философа-материалиста Анаксагора (этот процесс, впрочем, некоторые относят к более раннему времени, см. 14, S. 215, Anm. 3), против его подруги — чужеземки (милетянки) Аспасии, наконец, против его сотрудника, фактического руководителя грандиозных работ на Акрополе, скульптора Фидия (Diod., XII, 38—39; Plut. Per., 31—32; Philochor., fr. 97 Müller).

Наконец, была предпринята атака и на самого Перикла: по предложению Драконтида (возможно, того самого, который по окончании Пелопоннесской войны входил в олигархическое правительство Тридцати) народным собранием было принято постановление о привлечении Перикла при сдаче должностного отчета к особой судебной ответственности, а именно — к тому, чтобы он представил свой отчет не обычным коллегиям контролеров — логистов и эвфинов, но Совету 500, а по дополнительному предложению Гагнона (тоже, по-видимому, близкого к олигархическим кругам), даже еще более авторитетной судебной комиссии из 1500 человек (Plut. Per., 32, 3—4).

О судьбе этого дела далее, однако, ничего не известно; возможно, оно так и не вылилось в настоящий судебный процесс. Тем не менее несколько лет спустя, когда война между Афинами и Спартой уже началась и афинян постигли первые неудачи, оппозиция Периклу вновь подняла голову. И опять он был привлечен к судебной ответственности и на этот раз признан виновным и оштрафован на крупную сумму, по одним свидетельствам, в 15, а по другим — даже в 50 талантов. В связи с этим осуждением он был также отрешен от должности

или, во всяком случае, не переизбран в стратеги на ближайший 430/429 год (Thuc., II, 65, 3; Plut. Per., 35, 3—5). Правда, спустя короткое время, когда стало ясно, что разумной альтернативы политике Перикла нет, как нет и достойной ему смены, народ вновь обратил свои взоры в его сторону. После годичного перерыва Перикл опять был избран в стратеги (на 429/428 г.), но эта его стратегия продолжалась совсем недолго: в том же 429 г. он пал жертвою свирепствовавшей тогда в Афинах эпидемии чумы.

* *
*

Делом Перикла мы исчерпали намеченный сюжет. Сформулируем кратко главные выводы, указав при этом на решающее обстоятельство: лидеры афинской демократии в собственно классический период были скорее политическими, нежели социальными руководителями народа; это верно даже в случае с Фемистоклом, как правильно отмечено Г. Берве (15, с. 250—251). Вследствие их аристократических претензий дистанция между ними и народом всегда сохранялась, даже невзирая на их, впрочем всегда остававшуюся аристократической, демагогию, и завершением их карьеры чаще всего была личная катастрофа. Рассматривая ситуацию с другой стороны, можно сказать и так: афинская демократия пользовалась услугами своих аристократических лидеров, но достигала осознания суверенности своих прав именно последовательным устранением своих вождей.

С точки зрения исторической перспективы очевидным парадоксом и вместе с тем подлинной трагедией для афинской демократии было то, что она не могла достичь полной зрелости иначе, как под руководством и при устранении своих аристократических лидеров. Исчерпание кадров этих последних (в этом отношении показателен своеобразный вакуум после Перикла) не случайно, по-видимому, совпадает с началом упадка афинской демократии. Скажем яснее: трагедия афинской и вообще античной демократии заключалась в том, что она не могла подготовить себе надлежащих руководителей из собственной, народной среды. Причиной тому было обусловленное общим примитивным уровнем цивилизации (при всех достижениях в области духовной культуры) отсутствие таких школ общественно-политического воспитания, как настоящие профессиональные союзы и настоящие политические партии. Полисный принцип социально-политического компромисса, «согласия» (homonoia) граждан позволял гражданскому коллективу иметь необходимых политических лидеров из верхушечного, аристократического слоя, но он же диктовал и необходимость пресечения их инициативы, поскольку она представляла опасность суверенному, свободному существованию общины.

Последствия этих репрессивных усилий были весьма серьезны: аристократические политики, поскольку им удается уцелеть, вырождаются в совершенно беспринципных авантюристов типа Алкивиада (о нем подробнее см.: 12, с. 12 сл.), а в социальном плане на авансцену выступает фигура собственно демагога — выскочки из общественных низов (Клеон, Гипербол, Клеофонт и др.), которого умаляло не отсутствие манер, на чем делает акцент античная традиция (ср. о Клеоне: Arist. Ath. pol., 28, 3; Plut. Nic., 8, 6), а неспособность наметить перспективу, составить действительно широкую программу действий. Демократия и в самом деле начинала тяготеть к охлократии, и в прямой зависимости от этого полисное государство клонилось к упадку.

На избранном примере мы таким образом лишний раз убеждаемся в том, насколько фасадной, внутренне несостоятельной была античная цивилизация. Демократия в древних Афинах — блестящий прототип демократий нового времени, но прототип в силу своей природы эфемерный, предвосхищавший современный тип социальной демократии лишь в некоторых, скорее внешних чертах. Кардинальная проблема соотношения «вожди — масса» в условиях античного общества не могла быть решена сколько-нибудь удовлетворительным образом, и это обрекало передовую форму античной государственности на скорое перерождение и упадок.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21.
2. Белох К. Ю. История Греции / Пер. с нем. М. Гершензона. М., 1897—1899, т. I—II.
3. Блаватская Т. В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. М., 1966.
4. Бузескул В. П. История афинской демократии. СПб., 1909.
5. Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI веке до н. э. М., 1964.
6. Каллистов Д. П. Утверждение в Афинах строя рабовладельческой демократии. Перикл. — В кн.: Древняя Греция / Под ред. В. В. Струве и Д. П. Каллистова. М. 1956.
7. Колобова К. М., Глускина Л. М. Очерки истории Древней Греции. Л., 1958.
8. Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
9. Лурье С. Я. История Греции. Л., 1940, ч. 1.
10. Строгецкий В. М. Клисфен и Алкмеониды. — ВДИ, 1972, № 2.
11. Тюменев А. И. Рабовладельческий город-государство. — В кн.: История Древней Греции, ч. II (История древнего мира / Под ред. С. И. Ковалева, т. III). М., 1937.
12. Фролов Э. Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972.
13. Фролов Э. Д. Рационализм и политика в архаической Греции. — В кн.: Город и государство в древних обществах. Л., 1982.
14. Bengtson H. Griechische Geschichte. München, 1969.
15. Berve H. Fürstliche Herren zur Zeit der Perserkriege. — In: H. Berve. Gestaltende Kräfte der Antike. München, 1966, S. 232—267.
16. Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. München, 1967, Bd. I—II.
17. Burckhardt J. Griechische Kulturgeschichte. Berlin, s. a., Bd. I.

А. И. Зайцев

ПЕРИКЛ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
(к вопросу о приемах политического руководства в древности)

Политическое развитие в Афинах V в.* после греко-персидских войн характеризуется постепенным формированием институтов рабовладельческой демократии: от Фемистокла через умеренную демократию времен правления Перикла к радикальной демократии конца V в. Конечные цели демократических политиков Афин V в. были общими: обеспечить максимальное благоденствие граждан за счет подчиненных Афинам союзников и не входивших в число граждан групп населения Аттики (4, с. 89; 9, с. 333 сл.; 14, 15, с. 557). Существенными были различия в методах достижения поставленных целей. В частности, Фукидид, противопоставляя Перикла сменившим его вождям радикальной демократии, видит важнейшее отличие Перикла в том, что он в определенной степени был способен рационально предусмотреть ход событий, последствия тех или иных решений и мог убеждать афинское народное собрание в правильности своей оценки ситуации и предлагаемых мер (Thuc. II, 40, 2—3; II, 65, 5—9 и все повествование первых двух книг). В свою очередь, Клеон, Гипербол, Алкивиад, преследуя свои цели, обращались к непосредственным интересам, иллюзиям и страхам афинян, действовали на их эмоции (7, с. 694 Cf. 6, с. 48). Гневные слова Фукидида по поводу исполненных эгоизма и тщеславия политических деятелей (Thuc. III, 82, 2) относятся явным образом к Афинам и, очевидно, справедливо характеризуют подлинное положение дел.

Речи, которые Фукидид вкладывает в уста Перикла, очевидно, правильно передают общий характер его обращения к афинянам (18, с. 683; 10, cf. VI). Перикл не только ставил перед внешней политикой Афин ограниченные цели, защищая позиции политического реализма, но и считал необходимым прямо говорить об этом афинскому народу (Thuc. I, 144; II, 65, 7—9). Перикл прямо предупреждал афинян о невозможности окончательной победы на суше над армией Пелопоннесского союза (Thuc. I, 143; II, 13, 2).

Важным моментом в развитии внутреннего положения Афин и в ходе Пелопоннесской войны оказалось недовольство афинян Периклом в 430 г., возникшее под влиянием трудностей войны со Спартой и губительной эпидемии чумы в Афинах (Thuc. II, 59—65; Plut. Pericl. 35). Какие временные колебания настроений афинян сделали еще раньше возможным и принятие псефизмы Диопифа и процесс против Анаксагора, мы не знаем.

Послеперикловские Афины являют нам разительный конт-

---

* Здесь и далее — до нашей эры.

раст с «веком Перикла». Соперничавшие между собой демагоги отстаивали ту или иную политику, руководствуясь прежде всего стремлением привлечь своими рекомендациями симпатии народного собрания, снискать популярность любой ценой. Для некоторых из них власть, в свою очередь, была средством личного обогащения.

Попытаемся разобраться в смысле происшедших перемен. Сравнительно-исторические и этнологические параллели ясно указывают на то, что одним из необходимых в ту эпоху условий относительно рационального ведения общественных и государственных дел являлась свобода от постоянного страха перед вмешательством в жизнь сверхъестественных сил.

Как обстояло дело в этом отношении с афинянами? V в. до н. э., эпоху расцвета натурфилософии и софистики, по аналогии с XVIII в. называют «веком просвещения». Идеи, которые в этом случае имеют в виду, хорошо известны, но степень распространения их хотя бы среди афинян вызывает споры. Между тем в нашем распоряжении имеются прямые свидетельства ослабления влияния примитивных форм религиозности среди широких слоев населения Афин V в. Именно Афины этой эпохи оставили большое число памятников прикладного искусства, предметов домашнего обихода, поддающихся довольно точной датировке и отражающих настроения рядовых жителей Аттики. Так, в течение V в. резко падает число предметов такого рода, снабженных апотропеическими символами. Исчезают эти символы и на афинских монетах (11, с. 235; 13, с. 578). Позднее Платон, имея в виду, очевидно, прежде всего Афины, уверяет, что атеистические идеи затронули чуть ли не всех людей (Plat. Leg. 891B; cf. 886B).

Такого рода относительная секуляризация мировосприятия афинян создавала, как мы увидим ниже, в условиях отсутствия серьезных политических кризисов предпосылки для зарождения, если так можно выразиться, рационального стиля руководства гражданским коллективом демократическими методами. Сложившаяся обстановка выдвинула на историческую арену государственного деятеля, склонного управлять такими методами, — Перикла. Наши источники связывают рациональный подход Перикла к государственным делам с влиянием жившего в Афинах философа Анаксагора из Клазомен, бывшего в V в. наиболее видным представителем рационализма в натурфилософии.

Не случайно в организации созданной по плану Перикла колонии в Фуриях приняли активное участие софисты Протагор и первый архитектор-градостроитель в истории человечества и автор рационалистического плана переустройства общества — Гипподам Милетский (16, с. 19). Конечно, это не мешало Периклу в случае необходимости, например в борьбе с Фукидидом, сыном Мелесия, использовать и влияние на массы

прорицателя Лампона (Plut. Pericl. 6, 2—3). Пытался использовать авторитет Лампона и Никий (Thuc. V, 19, 2; 24, 1), безуспешно стремившийся проводить после смерти Перикла хотя бы часть его политических принципов (например, принцип ограничения внешнеполитических целей).

Не случайно псефизма Диопифа, направленная против религиозного скептицизма и рационального объяснения небесных явлений (Plut. Per. 32), была орудием в борьбе против Перикла и его политики (17, с. 111; 16, с. 62—65; 12, с. 33). В то же время те аспекты традиционных религиозных верований, которые могли поддерживать солидарность гражданского коллектива и его уверенность в будущем, Перикл, очевидно, вполне искренне разделял и охотно использовал в своей политической деятельности (Thuc. II, 64, 2; (Lys.) 6, 10; Plut. Pericl. 8, 9, 13; с. 12—13; 16, с. 36; 5, с. 237).

Перикл придавал точному расчету во всем такое значение, что полностью устранил в своих земельных владениях элементы натурального хозяйства, продавая весь урожай, а потребление покрывал только за счет покупок (Plut. Pericf. 16), хотя это и должно было быть связано с дополнительными расходами. Плутарх переходит к рассказу об этом несколько неожиданно вслед за утверждением о длительности пребывания у власти и неподкупности Перикла: по-видимому, источник, которым пользовался Плутарх, объяснял необычную форму ведения Периклом своего хозяйства желанием дать каждому интересующемуся возможность легко разобраться в его имущественном положении и разумно судить о степени справедливости выдвигавшихся его политическими противниками обвинений в казнокрадстве. Даже наши заведомо неполные в этом отношении источники упоминают постановление Драконтида, вызванное такого рода обвинением в адрес Перикла (Plut. Pericl. 32; 2, с. 68—72). Очевидно, Перикл и в этом вопросе рассчитывал на здравый смысл афинян.

Первое время линия поведения, выработанная Периклом, казалось, оправдала себя. 3 августа 431 г. перед самым отплытием афинского флота произошло солнечное затмение, и Фукидид не говорит нам ничего о какой-то особой реакции афинян (Thuc. II, 28), а другие источники прямо указывают на то, что Периклу удалось поддержать спокойствие, сославшись на естественные причины затмений (Plut. Pericl. 35, 2; Cic. De rep. 1, 25; Val. Max, VIII, 11, 12). Большинство афинян, очевидно, было готово принять естественное объяснение затмений, падения метеоритов и других небесных явлений, которые предлагались, в частности, жившим в Афинах Анаксагором. О широком распространении сочинений Анаксагора в V в. в Афинах прямо говорит Платон (Plat. Apol. 26DE), и выдвигаемые иногда возражения (8, p. 39) не представляются убедительными.

Не произвело, по-видимому, особого впечатления на афинян и напоминание спартанцев о том, что Перикл, Алкмеонид по происхождению со стороны матери, несет на себе наследственную скверну, поразившую Алкмеонидов за умерщвление сторонников Килона, искавших спасения в святилище (Thuc. I, 126—127).

Однако чума в Афинах, не соответствовавший ожиданиям афинян ход Пелопоннесской войны резко изменили их настроения. Неуверенность афинян в будущем предстает перед нами в неразрывной связи двух ее проявлений — в росте влияния политических авантюристов, играющих эмоциями массы, так что Перикл старался уже не собирать народные собрания (Thuc. II, 27, 1), и в возрождении оттесненных было на задний план суеверных представлений.

Характерно, что одновременно с рассказом о первом проявлении недовольства афинян Периклом в связи с военными трудностями (Thuc. II, 21; III, 22, 1) Фукидид говорит о внимании, которое стали привлекать к себе оракулы (Thuc. II, 21, 3). Об оракулах заставила вспомнить и эпидемия в Афинах (Thuc. II, 54), в ходе которой Перикл был временно отстранен от власти (Thuc. II, 59—65; Plut. Pericl. 35).

Вся атмосфера жизни в Афинах резко меняется. Фукидид ярко рисует, как Клеон при осаде Сфактерии (Thuc. IV, 27—40), а Алкивиад перед походом в Сицилию (Thuc, VI, 15—19; Plut. Alcib. 17), думая прежде всего о собственном престиже, подстрекали афинян к военным предприятиям путем безответственных заверений; причем если в первом случае предприятие благодаря счастливому стечению обстоятельств закончилось успешно, то сицилийский поход привел Афины к катастрофе, от которой они уже не смогли впоследствии оправиться. В итоге афиняне за десять лет дважды вручали Алкивиаду высшую власть и дважды вынуждали его бежать, спасая свою жизнь. Нет ничего невозможного в утверждении Плутарха, будто уже после капитуляции Афин перед Лисандром некоторые афиняне ждали от Алкивиада спасения Афин (Plut. Alcib. 38). Афинское народное собрание под влиянием Клеона приняло чудовищное решение — казнить всех взрослых граждан Митилен, женщин и детей продать в рабство, а затем на следующий день отменило это решение, так что пришлось посылать триеру догонять корабль, увезший первое решение (Thuc. III, 36—50). При этом Фукидид пишет, что Клеон советовал народу руководствоваться в политических решениях первым чувством гнева (Thuc. III, 38, 1).

Мы не можем воспринимать как подлинные слова Клеона те выражения недоверия в адрес образованных людей, которые вкладывает ему в уста Фукидид (Thuc. III, 37, 13—4), но изображение его во «Всадниках» Аристофана, свидетельство Аристотеля (Aristot. Ath. Pol. 28, 3—4) говорят за то, что он,

будучи сам малообразованным человеком, использовал антиинтеллектуализм как средство в политической борьбе. В том же месте Аристотель как будто приписывает черты, характерные для Клеона, по крайней мере и некоторым другим радикальным демократическим политикам.

В критической ситуации под Сиракузами большинство воинов потребовали отсрочки отплытия на родину, испугавшись лунного затмения 27 августа 413 г., которое было сочтено дурным предзнаменованием (Thuc. VII, 50, 4); задержка эта привела к гибели всего войска. М. С. Корзун справедливо противопоставляет этот эпизод упомянутому выше затмению 431 г., но он акцентирует при этом роль Никия, а не настроения афинских воинов (2, с. 41).

В 406 г. до н. э., когда материальные ресурсы Афин были истощены до предела и все больше давало себя знать душевное напряжение, вызванное нескончаемой войной, в обстановке массовой истерии в народном собрании шел суд над стратегами — победителями в Аргинусском сражении, не сумевшими подобрать раненых афинян и тела погибших. Выступавшие на заседании Калликсен и в особенности Ликиск использовали смятение демоса для того, чтобы навязать ему решение о казни стратегов, явно противоречащее интересам государства, как это и было расценено афинянами вскоре после казни (Xenoph. Hell. 1, 7). Аристофан, ища виновника разрушения традиционных нравственных принципов, объявляет таковым в «Облаках» Сократа, спекулируя на тенденции раздраженной толпы соединять в едином отрицательном образе все непривычное — в данном случае взаимоисключающие идеи ионийской философии, софистики и Сократа.

Постановление афинского народного собрания от 410/409 гг. о преследовании врагов демократии, предусматривающее поголовную клятву граждан во время особо торжественного жертвоприношения (Andoc. De myst. 96—98), выходит за пределы традиционной роли религии в афинском государстве и представляет собой попытку добиться оживления и дальнейшего усиления устрашающего воздействия самой формы религиозной церемонии с ее ритуальными подробностями.

Награды за доносы по делу о профанации мистерий в 415 г. были выданы Андромаху и Тевкру на Панафинейских празднествах (Andoc. De myst. 28). Писандр, вопреки закону, предлагал пытать на колесе свободных граждан, замешанных в деле гермокопидов, и буле охотно одобрил это предложение (Andoc. De myst. 43).

Уже в 399 г. сохраняющееся чувство тревоги и неуверенности в будущем привело к тому, что афинские гелиасты осудили на смерть Сократа.

Мы видим, что вскоре после начала Пелопоннесской войны иррациональные эмоции и суеверные страхи афинян, подогре-

ваемые и используемые в своих целях демагогическими политиками, превращаются в важный элемент афинской политической сцены. Начавший было складываться механизм управления государством в интересах гражданского коллектива на основе рационального выбора средств защиты этих интересов и убеждения народного собрания в целесообразности предлагаемой политики потерпел крушение при первых серьезных непредвиденных неудачах намеченной Периклом политики. Таким образом, секуляризация мироощущения афинян, влияние идей натурфилософского и софистического просвещения оказались недостаточно глубокими.

Литература

1. Бергер А. К. Политическая мысль афинской демократии. М., 1966.
2. Корзун М. С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444—425 гг. до н. э. Минск, 1975.
3. Рожанский И. Д. Анаксагор. У истоков античной науки. М., 1972.
4. Bowra C. M. Periclean Athens. London, 1971.
5. Ehrenberg V. From Solon to Socrates. London, 1968.
6. Flashar H. Der Epitaphios des Pericles. Seine Funktion im Geschichtswerk des Thukydides. Heidelberg, 1969.
7. Fritz K. v. Die Griechische Geschichtsschreibung. Berlin, 1967, Bd. I.
8. Havelock E. A. Preface to Plato. Cambridge (Mass.), 1963.
9. Homo L. Périclès. Une expérience de démocratie dirigée. Paris, 1954.
10. Kakridis J. Der thukidideische Epitaphios, ein stilistischer Kommentar. München, 1961.
11. Kern O. Die Religion der Griechen. Berlin, 1935, Bd. II.
12. Kett P. Prosopographie der historischen Manteis. (Diss.) Erlangen, 1966.
13. Nestle W. Vom Mythos zum Logos. Stuttgart, 1942.
14. Romilly J. Thucydides et l'imperialisme athénien. Paris, 1947.
15. Romilly J. L'optimisme de Thucydides et le jugement de l'historien sur Périclès. — Revue des études grecques, 1965, t. 78.
16. Schachermeyr Fr. Religionspolitik und Religiosität bei Pericles. Wien, 1968.
17. Schmidt A. Pericles und seine Zeitalter. Jena, 1877, Bd. I.
18. Wille G. Zu Stil und Methodik des Thukydides. — In: Thukydides / Hrsg. von H. Herter. Darmstadt, 1968.

В. А. Гуторов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ЭПОХИ КРИЗИСА ГРЕЧЕСКОГО ПОЛИСА

(о платоновском государственном деятеле)

Вопрос об участии Платона в политической деятельности является одним из самых сложных в истории античной общественной мысли. Не менее трудным представляется и вопрос о том, в какой мере участие Платона и его учеников в политике нашло отражение в сочинениях философа, посвященных раз-

работке концепции идеального государства. Несмотря на очевидную идейную общность многих мест в диалогах «Государство», «Законы» и платоновских VII и VIII писем, подлинность которых признается большинством современных ученых (10, p. 47—52, 80—105), далеко не все исследователи признают сам факт непосредственного влияния практической политики на эволюцию представлений Платона о государстве (см. 7; ср. 11).

Сохранилось немало свидетельств об участии Платона и его учеников в политической жизни греческих полисов. В VII письме, имеющем во многом автобиографический характер, философ писал, что еще в молодые годы стремился «тотчас же принять участие в общегосударственных делах» (Plato. Epist., VII, 324c). Однако молодость Платона, по своему происхождению и воспитанию принадлежавшего к аристократическим кругам, совпала с одним из самых драматических периодов в истории Афин — завершающим этапом Пелопоннесской войны, и Платона не могла не оттолкнуть политика вождей афинского народного собрания. Знакомство с учением Сократа, отвергавшего демократию как форму правления, события, последовавшие после падения «тирании Тридцати» и завершившиеся казнью учителя (399 г. до н. э.), окончательно отвратили Платона от участия в государственных делах родного города, но не от политики вообще (Epist., VII, 324c—325e; ср. V, 322a—в). «Я не переставал, — писал он, — размышлять, каким путем может произойти улучшение нравов и особенно всего государственного устройства; что же касается моей деятельности, я решил выждать подходящего случая» (Epist., VII, 325e).

Период наиболее активной государственной деятельности Платона приходится на время после создания им Академии (начало 80-х годов IV в. до н. э.), которая, по справедливому замечанию Д. Фергюсона, была «школой для государственных деятелей и имела политическую репутацию» (8, p. 62). У Афинея сохранилось свидетельство о том, что Платон послал своего ученика Эфрея к македонскому царю Пердикке (Ath.; 11, 506e, 508d; ср. Plato. Epist., V, 321c—322в). Плутарх сообщает имена учеников Академии, принимавших активное участие в политической жизни, — Аристодема из Аркадии, Менедема из Пирры, Формиона из Элиды, Эвдокса из Книда и др. (Plut. Adv. Col. 32). Ученики Платона играли определенную роль и в политической жизни Афин, например Хабрий, Фокион, Ликург и, может быть, Демосфен (8, p. 62).

Известно также, что Платону неоднократно предлагали принять участие в качестве законодателя (νομοθέτης) при основании колоний, например Мегалополя, основанного аркадянами и фиванцами. Для разработки нового законодательства Платона приглашали также киренцы и его ученик Лаодамант по просьбе правителей Фасоса (5, с. 188). Однако из всех подобных фактов, несомненно свидетельствующих о том, что Пла-

тон был не «чистым теоретиком», а стремился к практическому воплощению своих идей, внимание как античных авторов, так и современных исследователей более всего привлекали и привлекают его попытки оказать воздействие на политику сиракузских тиранов Дионисиев Старшего и Младшего.

Сицилийские путешествия не являются единственной попыткой Платона повлиять на политику греческих тиранов с целью воплощения своих политических планов. В VI письме (по-видимому, подлинном) уже старый философ рекомендует воспользоваться советами своих учеников Эраста и Кориска атарнейскому тирану Гермию с целью достижения единства и даже слияния философии и политики (Epist. VI, 322c—323д; см. также 8, p. 62—63). Однако, как отмечает К. фон Фритц, посвятивший специальное исследование политической деятельности Платона, «влияние... которое он оказывал через своих учеников Эраста и Кориска на тирана Гермия из Атарнея в Малой Азии, было слишком ограничено в пространственном и временном отношении, чтобы из этого можно было бы извлечь что-либо существенное для характеристики Платона как практического политика» (9, S. 7).

Платон трижды посетил Сиракузы: в 387 г., 366 г. и 361—360 гг. Первое путешествие по Южной Италии и Сицилии совпало по времени с начальным этапом разработки Платоном политического учения, основные положения которого нашли яркое выражение в диалоге «Государство». Исходным пунктом платоновских теоретических построений стало положение о главенствующей роли философского знания при решении вопроса об истинности или неистинности той или иной формы правления. Это положение близко связано с платоновской теорией идей, возникшей под влиянием пифагорейского учения, в соответствии с которой существующая действительность (в том числе и различные виды государственности) является лишь бледным отражением мира идей, где царит всеобщая гармония. Только познание этого мира, доступное лишь философам, дает представление об истинном предназначении государства как реализации основной в платоновской философии идеи блага, поскольку «ею обусловлена пригодность и полезность справедливости и всего остального» (Plato. Resp., VI, 505a).

Рассуждая подобным образом, Платон сделал вывод о необходимости руководства государственными делами со стороны философов (Resp., V, 473д; Epist., VII, 326в). Сконструированное им идеальное государство, основанное на строгой иерархии функций основных сословий — философов-правителей, воинов и прочих социальных слоев населения (включая рабов), на ликвидации у двух правящих высших сословий частной собственности и индивидуальной семьи, противопоставляется всем другим государственным формам — тимократии (под которой понимается Спарта), олигархии, демократии и тирании,

именуемым как неправильные, лишенные всякой гармонии, раздираемые внутренними противоречиями, борьбой бедных с богатыми (Resp., VIII, 543a—569e; IV, 423 a—в).

Считал ли Платон возможным осуществление в действительности своего идеала? Несмотря на утверждения философа в «Государстве», что нарисованный им проект дан лишь в качестве недосягаемого образца, что он существует на небе, «а есть ли такое государство на земле и будет ли оно — это совсем неважно» (Resp., IX, 592в), в самом диалоге в достаточно ясной форме выражается надежда на претворение этого идеала в жизнь. В VI книге Платон выделяет два пути — либо «смыслящие в философии» люди возьмут на себя заботу о государственных делах в каких-нибудь варварских краях* (Resp., VI, 499д, 500a—501e), либо «случится, что среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры» (Resp., VI, 502a) и один из них, имея в подчинении государство, установит законы, которым люди будут охотно повиноваться (Resp., VI, 502в). Таким образом, уже в «Государстве» Платон обращается к мысли об идеальном правителе, на практике претворяющем в жизнь проект совершенной политической организации.

В «Государстве» можно выделить и другие важные моменты, касающиеся практической реализации политических планов Платона. Это, во-первых, крайне отрицательное отношение к войнам между греками и всякого рода насилию как средствам осуществления политических замыслов (Resp., II, 373e; ср. Epist., VII, 336e—337a; см. также 9, с. 130). Особенно одиозной Платон считает практику тиранов: вторжение в имущественные отношения, обещания отмены долгов и передела земли, являющихся прологом к репрессиям и казням (Resp., VIII, 566a, 566e; ср. Legg., III, 684 g—e). Во-вторых, убеждение, что главную роль в формировании «сильной личности», идеального законодателя и политика играет новая система воспитания и прежде всего изучение математики и философии.

В этой связи не был случайным приезд философа ко двору Дионисия Старшего, захватившего власть в Сиракузах в 405 г. в результате антиолигархического переворота (подробнее см.: 4, с. 46—66, 86—87, 91—95). С точки зрения Платона, Диони-

---

* Скорее всего, речь идет об основании колонии. Возможно, Платон имел в виду Фурии, основанные в 444 г. в Южной Италии по инициативе Перикла при участии философа Протагора из Абдер и одного из предшественников Платона — Гипподама Милетского, создателя проекта идеального государства (Arist. Pol., II, 1267в 22, 1267в 29). Вполне вероятно также, что Платон в идеализированном виде представлял и практику общин пифагорейцев в Южной Италии (II, с. 139), с философскими и политическими идеями которых был хорошо знаком. Во время своего первого путешествия в Южную Италию и на Сицилию в 389—387 гг. до н. э. он познакомился с пифагорейцем Архитом, правителем Тарента, личность и деятельность которого несомненно оказали влияние на формирование идеала философа-правителя (8, с. 48, 62).

сий был типичнейшим примером «тиранического человека», блестящий портрет которого дан в VIII книге «Государства» (Resp., VIII, 565д—569е). Как совместить решение Платона поехать к Дионисию Старшему, а затем предпринять второе путешествие к его наследнику с резко отрицательным отношением к тирании, которое он сохранил до конца жизни? При дворе тирана попытка Платона изложить свои взгляды на природу справедливости была встречена враждебно. Плутарх рассказывает, что философ был даже продан в рабство по повелению Дионисия на обратном пути из Сицилии (Plut, Dion., 5). Однако эта поездка оказалась не совсем бесплодной. Платон приобрел верного ученика — Диона, брата жены Дионисия, занимавшего видное место при его дворе благодаря своим выдающимся личным качествам. Дружба с Дионом продолжалась более 30 лет вплоть до трагической его смерти в 354 г. С именем Диона были связаны в дальнейшем и все усилия Платона воплотить свои политические идеи на практике.

После смерти Дионисия Старшего (367 г.) по просьбе Диона Платон вновь приехал в Сиракузы, чтобы взять на себя заботу о воспитании Дионисия Младшего (которому было уже около 30 лет) и тем самым содействовать тому, чтобы «без избиений и казней, без всех совершившихся зол устроить во всей стране счастливую и справедливую жизнь» (Plato. Epist., VII, 326д). К. фон Фритц, предпринявший попытку реконструкции платоновской политической программы этого периода, отмечает, что для самого философа, ученика Сократа, пребывание при дворе Дионисия Младшего было от начала и до конца мучительным компромиссом (9, с. 34). Это предположение косвенно подтверждается, в частности, пессимистическим характером VII письма (Epist., VII, 329в). В этом письме, в котором Платон преследовал цель ознакомить всех греков со своими политическими взглядами (9, с. 48), невольно выступает на первый план история отношений с Дионом, неудача сицилийских предприятий уже после его смерти и полное разочарование в Дионисии. Однако пессимистическая оценка Платоном опыта реализации своих идей находится в противоречии с теми выдержками из «Законов» (написанных в середине 50-х годов IV в., т. е. примерно в одно время с VII и VIII письмами), в которых говорится о создании идеального государства при помощи просвещенного тирана. В IV книге «Законов», определяя государство, более всего пригодное для создания идеального общественного строя, Афинянин (выразитель идей Платона) говорит: «Дайте мне государство с тираническим строем. Пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, мужествен и от природы великодушен» (Legg., IV, 709е—710а). В другом месте Афинянин прибавляет, что тиран должен быть и удачлив, «но лишь в том, что во время его владычества появится прославленный законодатель и некая судьба сведет их воеди-

но» (Legg., 710c—д). Таким образом, «возникновение наилучшего государства произойдет лишь тогда, когда явится истинный по природе законодатель и когда мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами» (Legg., 710e).

На наш взгляд, приведенные в диалоге высказывания Афинянина наряду с другими суждениями (см. Legg., IV, 716a—в) имеют автобиографический характер и отражают действительные замыслы Платона оказать при помощи Диона влияние на политику Дионисия Младшего. Учитывая, что в «Законах» не раз выражается отрицательное отношение Платона к тирании как форме правления и к самой личности тирана (Legg., II, 661e—662a; IX, 859a), можно предположить, что Платон верил в эволюцию тирании под непосредственным влиянием философа-законодателя в направлении идеализируемой им царской власти (Epist, VII, 335д).

Впервые четкое теоретическое разделение единоличной власти — монархии — на царскую власть и тиранию дается Платоном в диалоге «Политик» (Pol., 291д—е), написанном в 60-е годы, т. е. в период наибольшей политической активности. Однако вполне вероятно, что эти идеи были восприняты философом еще тогда, когда он был учеником Сократа (см. Xen. Mem., IV, 6, 12; ср. Arist. Pol., IV, 1295a 17—23, 1295a 15—17; Arist. Rhet., I, 1366a 2). В «Политике» Платон рассматривает «царское искусство» как отличное от всех видов человеческой деятельности искусство государственного управления, сравнимое только с искусством врача и кормчего (Pol., 289c—д, 293a—в). Царем может считаться только властитель, стремящийся к обладанию истинным знанием и ориентирующийся в своей политике на совершенный общественный строй, существовавший еще во времена бога Кроноса (Pol., 271e—272c; ср. Legg., IV, 713c—714a). Руководствующийся примером идеального строя властитель может не связывать себя законами, имеющими по природе своей слишком общий характер и сковывающими своим консерватизмом царя, который заботится одновременно и о благе всего государства, и о каждом его члене в отдельности (Pol., 293в, 300c—e; ср. Legg., IX, 875c—д).

Рисуя такой образ идеального монарха, Платон, конечно, полностью осознавал, что он также является недосягаемым примером для современных ему правителей и что лучшей гарантией правильного устройства государства будут законы и постановления, сочиненные «сведущими людьми» (Pol., 300c). С этой точки зрения идеальным правителем был бы монарх, повинующийся законам, которые также являются отражением истины.

В «Политике» принцип подчинения законам кладется в основу своеобразной типологии государственных форм. Все существующие государства (монархия, олигархия, демократия) раз-

деляются Платоном на две части в зависимости от отношения их правителей к закону. Так, не подчиняющийся закону монарх, руководствующийся в подражании «божественному образцу» правления только страстью, является тираном (Pol., 301c — д).

Идея о том, что скрепленная законами монархия является наилучшим видом правления, в 60—50-е годы IV в. разделялась не одним Платоном. Постепенно в условиях обострявшегося кризиса полиса, разложения идеологии и культуры эта идея становилась ведущей в рассуждениях его современников— Ксенофонта, наделившего в «Киропедии» персидского царя Кира всеми чертами идеального правителя, Антисфена, также посвятившего Киру три произведения (см. 3, с. 243—267; Diog. Laert., VI, 16, 18), Исократа и, наконец, Аристотеля, идеализировавших политику македонских царей Филиппа и его сына Александра (Isokr. Phil., 9; Arist. Pol., III, 1284в 3—1288а 3; IV, 1296а 38; подробнее см. 1, с. 50—58). Черты идеализации личности Кира можно найти и в платоновских «Законах» (Plato. Legg., III, 694а—с, 695а, 696в).

Все указанные идеологи так же, как и Платон, были прямо или косвенно связаны с сократической школой и отталкивались в своих политических рассуждениях от критики афинской демократии. Сам факт, что многие политические идеи Платона предвосхищают программы его современников или совпадают с программами, выдвинутыми накануне македонского завоевания Греции (до которого философ не дожил нескольких лет), вполне подтверждается и характером некоторых мероприятий, которые он пытался осуществить во время второго и третьего путешествия в Сиракузы к Дионисию Младшему. Помимо составления προοίμια (вводных частей к законам) с целью сделать более убедительной необходимость их принятия народом (см. Plato Epist., III, 316а; ср. Legg., IV, 722в—72в.), Платон выдвинул программу восстановления сицилийских полисов путем создания под руководством Дионисия Младшего системы взаимопомощи в борьбе против варваров (карфагенян) (Epist., III, 315д, 319а—в; VII, 332д—333а, 337с—д; VIII, 355д) и преумножения государства (Epist., VII, 333а). Таким образом, реализацию своих политических планов философ связывал с восстановлением именно полиса и его государственности. Платон противопоставляет свой план практике Дионисия Старшего, который, «собрав Сицилию в один город и будучи слишком хитрым, чтобы кому-нибудь доверять, с трудом удерживал власть» (Epist., VII, 332с). И хотя все усилия Платона в этом направлении окончились крахом из-за противоборства партии сторонников тирании во главе с Филистом (которые убедили Дионисия изгнать Диона и тем самым положили конец надеждам философа на мирное претворение в жизнь его политических планов (см. 6, т. 1, с. 262—264, 268)), сам

их характер ясно свидетельствует о том, что Платон один из первых, выражая объективные тенденции к преодолению полисного партикуляризма и объединению греческих государств в рамках союзов или держав (типа Сицилийской державы Дионисиев), сформулировал программу реставрации полиса на данной основе.

Об этом свидетельствует и отношение Платона к целям переворота, осуществленного в 357 г. в Сиракузах Дионом. Тщательно проанализировав источники, К. фон Фритц, например, приходит к выводу, что Дион, опираясь на платоновское учение, пытался ввести в Сиракузах государственное устройство, «которое в древности называли смешанной конституцией» (9, с. 115, 116),** основанное на совмещении элементов царской власти и аристократии с выборным началом — народным собранием и советом (βουλή). Введение такой конституции послужило бы прологом к серии реформ, направленных на выравнивание характерных для Сицилии и Южной Италии крайностей между богатством и бедностью, но «не путем простого перераспределения крупных состояний между неимущими, а при помощи тщательного контроля со стороны государства» (9, с. 118; ср. Plato: Legg., V, 737a—в).

Это предположение представляется нам вполне обоснованным, равно как и тезис о том, что Платон поддерживал реформаторскую деятельность Диона, веря в «чистоту» его намерений, о чем свидетельствуют платоновские письма (Epist., VII, 333в—с, 334e, 335e—336a, 350c—e, 351c—д). В VIII письме, обращаясь к родственникам и друзьям Диона после его смерти, Платон формулирует в общих чертах план государственного переустройства, к которому они стремились, — учреждение института царской власти (из трех царей), ограниченной жреческими функциями, 35 «стражей законов» (νομοφύλακες) вместе с народным собранием и советом (μετὰ τε δήμου καὶ βουλῆς) решающих вопросы войны и мира, а также института судей, избираемых из числа должностных лиц, которые занимаются разбирательством дел, «касающихся смерти, заключения и изгнания граждан» (Epist., VIII, 356e—357в). Структура законодательства, изложенная в платоновском письме, обнаруживает свое почти полное сходство с устройством идеального полиса в «Законах» (см. Legg., V, 740a—747e; VI, 752д—770e), ориентированным на спартанскую конституцию (Legg., III, 691д—692c; см. также 9, с. 113).

Практика показала полную нереальность попыток Диона приступить к осуществлению реформ. В обстановке войны с Дионисием и острейшей классовой борьбы, вспыхнувшей в Си-

** Г. Берве также отмечает, что целью Диона было соединение ограниченной законами царской власти и олигархических порядков «в духе Платона» (in Sinne Platons) (6, т. 1, с. 270).

ракузах, Дион, воспрепятствовав стремлению демократической партии (во главе которой встал Гераклид) к переделу земли (Plut. Dion., 48; 9, с. 118), оттолкнув от себя и олигархические круги утопическим характером своих планов (6, т. 1, с. 272), в конце концов оказался в полной изоляции и был убит в результате заговора сторонников продолжения реформ, который возглавил ученик платоновской Академии Каллипп (Plut. Dion., 51—52; Arist. Rhet., I, 1373a 19 сл; 6, т. 1, с. 272; 8, с. 70; 9, с. 100—101, 134). Непосредственным практическим результатом вмешательства Диона в сицилийские дела стала не ликвидация тирании, а распад державы Дионисиев на множество мелких тиранических государств, оказавшихся под властью различных завоевателей-кондотьеров.

В области теории своеобразный итог был подведен Платоном в «Законах», в которых в целом преобладают пессимистические взгляды на природу человека (отразившиеся, например, в мифе о людях-куклах (Plato. Legg., I, 645a—в)) и стремление к жесточайшей регламентации всех сторон жизни людей. Замечательным, вместе с тем, является и тот факт, что в «Законах» Платон не только не отказывается от планов создания идеального государственного строя, который можно рассматривать в целом как реставрацию аристократического полиса спартанского типа (разумеется, в идеализированном виде), но и обнаруживает уверенность в возможности двух- или трехстепенного перехода к идеальному полису, картина которого создана в «Государстве» (Legg., V, 739a—в, 739e). Платон говорит о введении нового учреждения, так называемого «Ночного совета», — собрания самых мудрых и опытных должностных лиц, наблюдающих за соблюдением законов, которому законодатель в дальнейшем намерен «вручить» государство (Legg., XII, 960a—969e; подробнее см. 2, с. 278—281). Из этого, однако, вряд ли можно сделать вывод о какой-либо непосредственной практической ориентации платоновского законодательства. Скорее, наоборот, возврат к идеям «Государства» был следствием осознания полного разрыва между практической политикой периода путешествий в Сицилию и идеалом совершенного полиса, осуществление которого философ завещал будущему.

Литература

1. Доватур А. Политика и Политии Аристотеля. М.; Л., 1965.
2. Зайцев А. И. Аристотель об отношении «Законов» Платона к его «Государству» (Pol. II, 1265a 3—4). — В кн.: Античное общество. М., 1967.
3. Фролов Э. Д. Ксенофонт и его «Киропедия». — В кн.: Ксенофонт. Киропедия. М. 1976.
4. Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия. IV в. до н. э. Л., 1979.
5. Яйленко В. П. Платоновская теория основания полиса и эллинская колонизационная политика. — В кн.: Платон и его эпоха. М., 1979.
6. Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. München, 1967, Bd. 1—2.

7. Châtelet F. Platon. Paris, 1965.
8. Ferguson J. Utopias of the classical world. London, 1975.
9. Fritz K. von. Platon in Sizilien und das Problem der Philosophenherrschaft. Berlin, 1968.
10. Morrow G. R. Studies in the Platonic Epistles. Urbana, 1935.
11. Turolla E. Vita di Platone. Milano, 1939.

А. Б. Егоров

О ПЕРСОНАЛЬНОМ ФАКТОРЕ В ИСТОРИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Проблема принципата является одним сложнейших вопросов античной истории. Своеобразный режим, возникший в результате гибели республики, заключал в себе столько противоречивых черт, что в сущности он не поддается какому-либо однозначному определению. Стремясь к подавлению полисного строя, принципат при этом постоянно на него опирался и шел не по пути уничтожения полисных институтов, а по линии их использования и трансформации. Если посмотреть на реальное соотношение сил, то кажется, что император является неограниченным правителем, в то же время сам носитель высшей власти всячески затушевывает свою особую роль. Создается парадоксальная ситуация, когда официальная идеология доказывает, что новый строй — это продолжение республиканских традиций, государство, сохранившее республиканскую свободу, а оппозиционная — что республика погибла, и принципат — не что иное, как монархия, тирания или нечто к ней близкое, принцепс при этом — монарх, а не первый сенатор (1). Такого рода двойственность обнаруживается и в правовой, и в политической, и в терминологической областях, что является причиной различной оценки принципата в новой и новейшей историографии.

Можно выделить три основных подхода к определению этого понятия. Одна группа исследователей (2; 11) либо считает принципат республикой при наличии высшего магистрата с огромными полномочиями, либо (как правило, с оговорками) принимает идею Т. Моммзена о диархии, т. е. двоевластии императора и сената. Другая видит в принципате монархию, пусть даже с известным сохранением республиканских институтов (1; 6; 5; 10).

Наконец, в последнее время в западной историографии все больше утверждается точка зрения, согласно которой принципат — это особая форма, являющаяся не монархией и не республикой, а неким их синтезом, причем часто исследователи отказываются дать ее определение и найти аналогию с современными понятиями (12; 13). Данная статья представляет собой попытку рассмотреть некоторые типологические аспекты личностного момента императорской власти. Такого рода экскурс имеет смысл еще и потому, что в западной историографии раз-

витие общества (в частности, общества римской империи) часто ставится в слишком большую зависимость от личности императора, и при этом забывается, что успешная деятельность этой личности возможна лишь в том случае, если она выражает тенденции общественного развития.

Прежде всего отметим, что персональный фактор в Римской империи был действительно очень велик в силу ряда обстоятельств. Во-первых, создавшаяся система (и это роднит ее с монархиями абсолютистского толка) действительно давала в руки императора огромную власть, контролировать которую легальными методами было практически невозможно. Во-вторых, сама общественная идеология в силу определенной неразвитости политического сознания придавала очень большое значение роли личности императора и ее влиянию на жизнь общества. Едва ли не главным объяснением событий и явлений в римской историографии времени империи становится как раз личностный фактор. Характерным подтверждением этого является вытеснение из историографии анналистического жанра, господствовавшего во времена республики, жанром биографическим. История представляется как последовательность династий и императоров; устанавливается четкое представление, что каков император, таково и положение в государстве.

Этот идеологический фактор, независимо от того, насколько он искажал историческую перспективу, сам по себе увеличивал значение личности правителя. Кроме того, в Римской империи существовали и другие причины роста значения личности правителя.

Прежде всего задачи экономического, политического и военного характера, стоявшие перед римскими властями, в силу разнородности государства и протяженности границ были более сложными, чем у большинства государств античности и средневековья. К этому добавляется и ряд политико-юридических факторов. Так, принцепс в силу исторически сложившейся ситуации находился в крайне сложных отношениях со своим соперником — сенатом. Юридически сохраняя положение партнерства, принцепс использовал различные рычаги, чтобы сводить его к полному подчинению. В первые два века империи, а отчасти и в последующее время, император должен был проводить основные решения через сенат, создавая при этом видимость свободной дискуссии и свободного права решения, а в действительности стремясь к тому, чтобы такая свободная дискуссия была бы исключена. Это обстоятельство усиливало требования к личным данным правителя.

Наконец, усилению личностного фактора способствовала противоречивость династического принципа. В настоящее время большинство исследователей признают, что, несмотря на сохранение принципа выборности императора, на практике в эпоху принципата складывается система специфически римских дина-

стий, при которой родство по крови дополнялось усыновлением лиц, не являвшихся родственниками (6). Однако эта система получила лишь ограниченное развитие, и особенно в моменты кризисов способные люди могли с успехом претендовать на высшую власть.

В современной литературе довольно основательно исследован вопрос об образе идеального императора в произведениях историков и публицистов I—III вв. (5). Примечательно, что в этом пункте разногласий практически нет. Такие разные авторы, как Веллей Патеркул, Тацит, Светоний, Плиний, Дион Кассий, дают примерно один и тот же перечень императорских пороков и добродетелей. Расхождения начинаются лишь тогда, когда речь заходит о возможности существования такого идеального принцепса или же при оценке конкретного правителя. Мы не станем подробно останавливаться на образе идеального государя и сделаем только общие замечания.

В основе добродетелей императора лежит virtus, слово с широким диапазоном значений. В узком смысле оно аналогично понятию мужества, доблести, а в широком может выражать всю сумму добродетелей. К ней примыкают fides (верность), aequitas и misericordia (умеренность и справедливость), щедрость (liberalitas, benignitas) и снисходительность (facilitas), предприимчивость (vigilantia, industria), благоразумие (prudentia, temperantia), мягкость (clementia) наряду с твердостью и моральной стойкостью (gravitas) (7).

Дурные принцепсы наделены высокомерием (arrogantia), жестокостью (crudelitas, saevitia), они развращены, корыстолюбивы, любят роскошь, бесчестны. Свободы нет только при плохих правителях, хорошие же либо защищают и развивают ее (официальная теория), либо, по крайней мере, пытаются совместить ее с принципатом, который по сути есть нечто противоположное (Тацит) (12).

Общепризнанным является и то, что этот образ есть не что иное, как образ хорошего (или плохого) политического деятеля времен республики, перенесенный теперь в новые условия, а требования к нему — это требования, выработанные сенаторской знатью. В эпоху империи их можно вкратце выразить такой формулой: правитель обязан твердо держать в руках бразды правления, однако не противопоставляя при этом себя сенату, а как бы составляя с ним единое целое. Несмотря на то, что образ был в значительной степени выработан на основе оппозиционных настроений, он оказывал определенное воздействие на поведение императоров потому, что сколько-нибудь оформленной и выраженной в литературе «контридеологии», четкого выражения абсолютизма принципат так и не выработал. При жизни императора историки и ораторы восхваляли его, однако посмертная оценка правителя зависела от соответствия образу, выработанному сенатской идеологией.

Ограничив этими общими замечаниями рассмотрение вопроса об образе правителя, перейдем к реальным типам правителей, вошедших в историю, как «негодные» или, наоборот, пользовавшихся особой популярностью, т. е. к некоторым качествам, наиболее благоприятным для римского принципса.

Примерно к IV в. н. э. накапливается достаточная информация для создания определенного канона императоров, на основании которого можно составить две цепи правителей: образцовых, «хороших» и популярных, с одной стороны, и непопулярных и ставших одиозными — с другой. В первую группу можно включить Августа, Веспасиана, Траяна, Антонина Пия и, может быть, Адриана, во вторую — Гая Калигулу, Нерона, Домициана и Коммода.

Разумеется, каждый из них имел свои особенности и жизненные обстоятельства, которые не могут быть сопоставимы; нам, однако, хотелось бы остановиться на некоторых общих моментах, характеризующих не столько этих правителей, сколько систему принципата в целом.

Популярные императоры чаще всего приходят к власти благодаря кризисной ситуации: Август и Веспасиан — в результате гражданских войн, Траян — в обстановке возможного кризиса, Марк Аврелий — во время сложной внешнеполитической ситуации. Остальные, хотя и получили власть в более спокойное время, все же были в немалой степени обязаны этим своим личным качествам. Положение Адриана, например, осложнялось его отношениями с предшественником (из-за чего многие сомневались в законности и действительности его (Адриана) усыновления) (SHA, Adr., 4) и наличием сильной оппозиции в сенате и в высшей бюрократии (Ibid., 5—7). Таким образом, хотя и в спокойной обстановке мог выдвинуться сильный правитель, наиболее подходящие люди приходили к власти в условиях борьбы, путем «естественного отбора». Примечательно, что все они умерли своей смертью, не встречали сколько-нибудь серьезно угрожающей их власти оппозиции и были популярны не только среди знати, но и среди народа, в армии и провинциях.

При этом следует отметить, что никто из этих правителей не принадлежал к низам общества, но некоторые явно не относились к верхушке правящей элиты. Это, скорее всего, нижние этажи высшей социальной группы. Ситуация во многом сходна с эпохой гражданских войн, когда наиболее выдающиеся лидеры тоже часто представляли собой отстраненную или нижнюю часть правящей элиты. Август, хотя и был внучатым племянником Цезаря, непосредственно принадлежал к сравнительно новому и малоприметному роду Октавиев; отец Веспасиана был сборщиком налогов, т. е. даже не принадлежал к нобилитету; Траян и Адриан, будучи потомками нобилей, принадлежали все же к новой провинциальной знати. Только Марк Аврелий и Антонин Пий имели дедов-консуляров.

Другим, может быть, отчасти вытекающим из этого обстоятельством является воспитание в консервативной, обычно сельской обстановке, развивавшей скромность в быту. Август провел детство и юность в усадьбе деда возле Велитр (Suet., Aug., 6), а о его умеренности в быту и общем бытовом консерватизме сообщает Светоний (Ibid., 73, 74, 76, 77). Веспасиан жил в поместье бабки близ Козы (Suet., Vesp., 2) и, став императором, мало в чем изменил образ жизни представителя среднего класса муниципалов. Известно также и о скромном образе жизни Траяна и Антонина Пия; источники сообщают об аскетизме Марка Аврелия (SHA, M. Ant. phil., 2, 4). Адриан, человек более экстравагантный, чем ранее перечисленные правители, все равно был далек от невероятной роскоши Нерона или Коммода, а некоторые из его склонностей, например литературные вкусы, явно говорят о немалой доле бытового консерватизма.

Римскую империю обычно считают военной диктатурой, однако примечательно, что ни один из упомянутых императоров, за исключением Траяна и, быть может, Марка Аврелия, не был военачальником, а Веспасиан, хотя и отличился в Британии, все же не относился к числу крупных полководцев. Непосредственных военных успехов достигали, как правило, их подчиненные, а сами они больше проявили себя в области стратегической организации кампаний, что было связано с их блестящими организаторскими способностями в гражданско-бюрократической сфере.

Примечательно и другое. Все они, в том числе и выдвинувшийся на военном поприще Траян, утверждали не военный, а гражданский образ правления. Светоний хвалит Августа за то, что он навел порядок в армии и «поставил солдат на место» (Suet., Aug., 24—25); то же самое делали Веспасиан (Suet., Vesp., 8) и Адриан (SHA, Ard., 9—10). Траян, Антоний Пий и Марк Аврелий также держали армию в повиновении. Все это показывает, что на армию смотрели как на слепой инструмент власти, а не как на партнера по управлению. Будучи чрезвычайно одаренными людьми, эти императоры не были, как правило, людьми разносторонними, и их энергия и способности концентрировались на собственно политической деятельности. Можно выделить два типа правителя — тип императора-бюрократа (Август, Веспасиан, Адриан) и тип императора-сенатора (Антоний Пий). Первый тип отличается большей энергией в организации управления, второй — тяготел к слиянию с сенатом. По существу в условиях двойной природы римской знати, к которой в конечном счете принадлежали и императоры, это были две стороны одной и той же медали. Примечательно, что задатки императоров в других областях обычно также направлялись на политическую деятельность.

Группа «плохих» императоров существенно отличается по ряду вышеуказанных признаков. Все они (Калигула, Нерон, До-

мициан и Коммод) пришли к власти в результате действия династического принципа, и если при этом и возникали какие-нибудь сложности, преодолевались они не благодаря их собственным заслугам. Эти императоры, в отличие от предыдущей группы, были молоды в момент достижения принципата. Гаю Калигуле было 25 лет, Нерону — 17, Коммоду — 19, Домициану — 28. Заметим для сравнения, что Август достиг принципата в 32, Веспасиан — в 60, Адриан — в 41, Антонин Пий — в 52, а Марк Аврелий — в 40 лет. Молодые императоры рано попадали в придворную обстановку и привыкали к дворцовой роскоши. Источники отмечают их особую, постепенно доходящую до невероятных масштабов расточительность, наносившую сильный удар по бюджету государства (Suet., Cal., 37; Nero, 26—27, 30—31; Dom., 12; SHA, Comm., 5, 11).

Одним из основных отличий этих императоров от правителей типа Августа или Веспасиана было то, что они не умели и не желали отождествлять себя и государство. Если первые смотрели на власть прежде всего как на служение государственным интересам или как на возможность управлять, то для Нерона или Калигулы она была средством для удовлетворения личных желаний. Власть как цель и власть как средство — таково различие их установок.

Развитие личности принцепсов второй группы часто шло вразрез с политической деятельностью, а любимые занятия и увлечения порой просто шокировали общество (например, театральные занятия Нерона или гладиаторские представления Коммода). Более того, принцепсы иногда сознательно делали то, что вызывало особое раздражение. Именно это неумение и нежелание слиться с римской государственной машиной, войти в образ принцепса, созданный сенатской идеологией и более или менее разделяемый всем населением, приводило к конфликтам, выражавшимся в диких эксцессах императоров и ответных заговорах и мятежах.

Стиль поведения императоров-деспотов был извращенным вариантом стиля поведения абсолютных монархов. Эксцессы во многом были результатом того, что такая линия вступала в противоречие с римской традицией, сохранявшей тягу к своеобразному сплаву республиканской и монархической идеологий. Последняя все больше берет верх, но не уничтожает своего противника целиком и даже не ставит это своей целью.

К III в. начинают происходить известные изменения. Усиливаются «абсолютистский» и военный характер власти, качества полководца становятся все более важными. Тем не менее указанные выше типологические черты правителя остаются в силе и, быть может, даже доминируют. Правители типа Септимия Севера, Аврелиана, Диоклетиана во многом похожи на Августа или Веспасиана, а роскошь, которой они себя окружали, более

ярко выраженный военный характер власти становятся требованием времени.

Завершая рассмотрение нашего сюжета, мы хотели бы указать на второстепенное значение личностного фактора в формировании и развитии системы принципата и еще раз подчеркнуть известное марксистское положение, что не личность определяет общественное развитие, а напротив, последнее заставляет личность действовать в соответствии с его законами. Невозможно отрицать, что решающую роль в создании и укреплении империи сыграли такие объективные факторы, как превращение Рима в великую державу и усиление роли провинций, нанесшие сокрушительный удар по системе Рима-полиса, экономические изменения и кризис общественного землевладения, профессионализация армии, разложение комициальной системы, обострение внутренних противоречий между верхами и низами римского общества, а также — противоречий в самих верхах, кризис традиционной полисной идеологии. При этом, однако, следует иметь в виду и силу консервативной идеологии и традиционной ориентации на старые ценности, которые оказались более живучими, чем социально-экономические основы полиса, и во многом обусловили идеологическую раздвоенность принципата.

Вместе с тем нельзя совершенно сбрасывать со счетов роль самой императорской власти в выработке основ новой системы. Марксистская наука никогда совершенно не отрицала значения субъективного фактора, и в данном случае мы видим, как объективно возникшая политическая структура доводится до определенного совершенства усилиями тех, кто ее воплощал, и то, какое влияние оказывала общественная идеология на действия императоров, какие типы последних выдвигались объективным характером развития общества. Без учета этих факторов, пусть субъективных, невозможно создание полной картины общества эпохи принципата.

Литература

1. Гримм Э. Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1900—1901, т. 1—2.
2. Ферреро Г. Величие и падение Рима. М., 1915—1923, т. 4—5.
3. Beranger J. Recherches sur l'aspect idéologique des principat. Paris, 1952.
4. Charlesworth M. P. The virtues of the Roman Emperor. London, 1937.
5. Dessau H. Geschichte der römischen Kaiserzeit, Bd. 1. Berlin, 1924.
6. Garthausen V. Augustus und sein Zeit, Bd. I—II. Leipzig, 1891—6.
7. Hammond M. Augustan principate in theory and practice during the Julio-Claudian period. Cambridge, 1931.
8. Hammond M. The Antonine monarchy. — In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. T. 2, Bd. 2. Berlin; New York, 1972.
9. Hellegouarc'h J. La vocabulaire latin des relations et des partie politiques sous la république. Paris, 1965.
10. Homo L. Les institutions politiques romaines. De la cité à l'état. Paris, 1927.

11. Mommsen Th. Römisches Staatsrecht, Bd. 2, T. 2. Berlin, 1887.
12. Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen des Prinzipats. München, 1937.
13. Wickert L. Princeps (civitatis), R. E., Bd. XXII, 1954, Sp. 1998—2296.

Г. С. Лебедев

КОНУНГИ-ВИКИНГИ
(к характеристике типа раннефеодального деятеля в Скандинавии)

«С молодости он привык грабить и убивать людей, разъезжая по разным странам. Наконец, он приехал сюда, в эту страну, и начал с того, что стал недругом всех ваших самых лучших и могущественных мужей. Ярлов Свейна и Хакона он изгнал из их вотчины. Он был жесток даже со своими родичами, когда изгнал всех конунгов из Упплёнда. Он велел их покалечить, захватил их владения, и в стране совсем не осталось конунгов. Вы хорошо знаете, как он обошелся с лендрманнами: самые уважаемые из них убиты, а многим пришлось бежать от него из страны. Он много разъезжал по этой стране с шайкой разбойников, жег селения и убивал и грабил народ. Есть ли здесь хоть один могущественный муж, кому не за что было бы отомстить Олаву-конунгу? А теперь он явился сюда с иноземным войском, в котором большинство — лесные люди, грабители и разбойники. Надо пойти против этой шайки и перебить их всех, и сделать их добычей орлов и волков... Пусть никто не посмеет перенести их трупы в церковь, ведь все они викинги и злодеи».

(Речь епископа Сигурда. «Сага об Олаве Святом», CCXVIII)

«Тогда стал говорить Кальв — сын Арни:

— ... хотя у Олава войско меньше нашего, но сам он непреклонный вождь, за которым все его войско пойдет в огонь и в воду... Хотя здесь у нас собралось большое войско, мы можем попасть в трудное положение, когда сойдемся с Олавом-конунгом и его войском, и тогда нам не избежать поражения»

(«Сага об Олаве Святом», CCXX)

«Олав-конунг очень любил повеселиться и пошутить, был приветлив и прост в обращении, горячо за все брался, был очень щедр, любил выделяться своей одеждой и в битве превосходил всех храбростью. Но он бывал крайне жесток, когда гневался, и своих недругов он подвергал жестоким пыткам: кого велел сжечь в огне, кого — отдать на растерзание свирепым псам, кого — покалечить или сбросить с высокой скалы. Поэтому друзья любили его, а недруги боялись. Он во всем добивался успеха, потому что одни выполняли его волю из любви и преданности, а другие из страха».

(«Сага об Олаве — сыне Трюггви», LXXXV)

Эти яркие характеристики «Хеймскрингла» — замечательного памятника исландской литературы XIII в. (6) — даются выдающимся правителям раннесредневековой Скандинавии: норвежским королям-миссионерам Олаву Трюггвассону и Олаву Толстому (Святому). Люди, о которых идет речь, стоят в ряду деятелей, объединенных общими ценностными установками и сходным способом действий; в нашей литературе им дано определение «конунги-викинги» (2, с. 90—91). Есть основания рассмотреть эту группу деятелей как особый тип политического лидера в Скандинавии «эпохи викингов» (IX — первая половина XI в.).

Этот тип сформировался в процессе образования северных государств, связанном с широкой военной экспансией, порожденной кризисом традиционного племенного строя. Переход скандинавских стран от варварства к государственности можно разделить на три этапа:

I. Ранняя эпоха викингов (793—891 гг.) — это время натиска независимых самоорганизующихся «вольных дружин» викингов, быстро переходящих от грабительских налетов на западноевропейские монастыри и церкви (разбогатевшие при последних Меровингах и англо-саксонских королях) к дальним экспедициям, захватам и завоеваниям. Англо-саксонские королевства не смогли организовать эффективного сопротивления этому натиску, Западнофранкское выдержало его с большим трудом. Восточнофранкское королевство (в будущем — Священная Римская империя) сумело дать отпор норманнам. Конец этого этапа отмечает поражение викингов в 891 г. при Лёвене.

II. Средняя эпоха викингов (892—980-е гг.) — это период начала образования скандинавских государств, когда силы викингов отвлечены внутренними событиями в Скандинавии. Это время гражданских войн, морских грабежей, великих географических открытий норманнов, характеризующееся спадом военной экспансии и при этом — организационной перестройкой движения, созданием разнородных, но стабильных объединений. В конце этапа возобновляются военные операции, свидетельствующие о сохранении условий и сил, вызвавших к жизни движение викингов.

III. Поздняя эпоха викингов (980-е — 1066 г.) завершается грандиозным столкновением трех претендентов на английский престол в битвах при Стемфордбридже (25 сентября) и при Гастингсе (14 октября 1066 г.). Весь этот этап наполнен организованными завоевательными движениями войск под руководством конунгов-викингов. В столкновениях королевских армий движение викингов уничтожает свой собственный людской, политический, социальный потенциал.

Социальные силы, содействовавшие формированию государственности, вызревали внутри скандинавских стран; необходимый аппарат, прежде всего военный, формировался главным

образом вовне. Именно на заключительном этапе эпохи викингов эти достаточно противоречивые тенденции сфокусировались в социальном типе конунга-викинга.

Социально-политические процессы, происходившие в это время в скандинавских странах, освещены источниками крайне неравномерно. В Швеции мы можем судить о них почти исключительно по археологическим данным. Крайняя скудость письменных сведений в сочетании с определенным своеобразием общественного развития этой страны в конце эпохи викингов (длительный период господства язычества, упадок торговых центров IX—X вв., перестройка внешних связей в конце X—XI вв.) приводят иногда историков к занижению оценки уровня социально-политического состояния Швеции IX—XI вв. (4, с. 112). На раннем и среднем этапах эпохи викингов развитие было достаточно динамичным. О нем можно судить по быстрому росту торговых центров, ранним опытам христианизации (миссия Анскария в 830—850-х гг.), первой монетной чеканке; эти явления особенно важны на фоне глубокой социальной стратификации, в ходе которой, наряду с дружинами викингов, складывавшимися в особый, переходного характера общественный слой, уже в конце IX — первой половине X в. обособляется королевская дружина, ядро раннефеодального господствующего класса (5, с. 155—157). С учетом этих явлений и надо оценивать ситуацию в Швеции XI в., где процесс государствообразования проходил примерно в том же темпе, что и в других северных странах. В деятельности шведских конунгов этой поры во всяком случае эпизодически проскальзывают черты, объединяющие их с некоторыми другими современными им правителями скандинавских стран: опора на внешнюю силу (прежде всего, военную), жестокость и радикальность действий, быстрота перемещений (пространственных и социальных), нередко — кратковременность правления. Если бы не лаконичность более поздних письменных известий, то шведские короли Олав, Эймунд, Свейн, Инги могли бы быть охарактеризованы как конунги-викинги.

Из трех скандинавских стран Дания развивалась быстрее других, и соответственно датские короли Свейн Вилобородый, Кнуд Великий, Хардакнут, Свейн Эстридссен в глазах современных историков выступают уже как вполне феодально-христианские правители, с некоторыми лишь «родимыми пятнами» языческого варварства. Бесспорная принадлежность к западноевропейскому средневековью не должна, однако, заслонять их глубокой внутренней связи с северным миром эпохи викингов; нужно делать также поправку на то, что «исторический образ» датских и датско-английских королей XI в. складывается на основе характеристик недатских, часто даже нескандинавских письменных источников, выработанных церковно-феодальной западноевропейской культурой. Скандинавские же письменные памятники дают характеристики либо слишком лаконичные (руниче-

ские камни XI в.), либо трафаретные (саги XII—XIII вв.); однако ни те, ни другие не противоречат образу «конунга-викинга», если проводить сравнение с лучшими его образцами. Археологические данные по датской эпохе викингов демонстрируют достаточно быстрое развитие новых общественных явлений, в целом, однако, как и в Швеции, укладывающееся в некий общесеверный темп (7, p. 167—169); поэтому, с определенным оговорками, некоторые характеристики общественных типов эпохи викингов можно, вероятно, распространить и на Данию.

Норвежская, а точнее норвежско-исландская культура наиболее адекватно запечатлела систему ценностей этой переходной эпохи и, в частности, донесла до нас представление об идеальном типе скандинавского государя (1, с. 82—100). В «королевских сагах» этот идеал воплощен в конунгах, нередко очень разных и по своему характеру, и по образу действий, и по исторической судьбе. Но при этом такие правители, как Харальд Серый Плащ, Олав Трюггвасон, Олав Харальдссон (Святой), Харальд Сигурдарсон (Хардрода, Грозный) объединены теми существенными чертами, которые позволяют говорить о них как о представителях одного общественного типа.

«Конунги-викинги» утверждаются на престоле после бурной молодости, прошедшей в далеких походах. Им нередко приходится последовательно менять ряд социальных позиций: от раба (Олав Святой) — к наемному воину, предводителю дружины, вассальному правителю; они успевают побывать при дворах разных правителей — от ладожского ярла до киевского великого князя и византийского кесаря (Хардрод) — в точности, как викинги, об одном из которых отец сказал: «Может быть, ему больше посчастливится, если он попробует служить английскому, датскому или шведскому конунгу» (1, с. 92). В то же время, однако, их никогда не оставляет мысль о том, что им по праву принадлежит престол в северных странах: «Олав... сказал, что у его родичей была там раньше держава и что, вероятно, он там больше всего преуспеет» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», XXI). Олав Толстый (Святой) говорит: «Я и мои люди довольствовались тем, что добывали в походах, и много раз подвергали свою жизнь опасности. А теми землями, которыми владели мой отец и дед и которые переходили в нашем роду по наследству из поколения в поколение и которыми сейчас по праву должен владеть я, правят иноземцы. Я решил мечом отвоевать свою отчину и приму помощь всех моих родичей и друзей и всех тех, кто захочет мне помочь в этом деле» («Сага об Олаве Святом», XXXV). Помощь приходит иногда извне: «...к нему присоединилось и войско, которое дал ему конунг шведов. В нем было четыре сотни человек... Тут к конунгу присоединилось войско, шедшее к нему навстречу из Норвегии... Всех вместе их стало двенадцать сотен человек» («Сага об Олаве Святом», CXCVIII).

«Когда мы одержим победу, то и земли, и добро, которые сейчас принадлежат нашим врагам, будут нашими, и мы сможем поделить их между вами» («Сага об Олаве Святом», CCXI). Одержав победу, эти конунги действуют быстро и решительно. «Снарядив как следует свое войско в Нидаросе, Олав-конунг назначил людей по всему Трёндалагу — сюслуманнов и арменнингов» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», XCV).

Дружинники становятся функционерами королевской администрации — и нередко в обход, если не на смену старой родовой знати: «Той же весной Олав-конунг назначил Асмунда — сына Гранкеля правителем половины Халогаланда, а другую половину он оставил Хареку с Тьотты, который раньше правил всей этой областью... — Но все же прежние правители страны так не поступали. Они не урезали прав тех людей, которым по рождению полагается получать власть от конунга, и не давали власти сыновьям бондов, которые раньше никогда ее не получали» («Сага об Олаве Святом», CXXIII). Реакция не ограничивается ропотом. Реформируя управление, конунг сталкивается со своеобразным саботажем, заставляющим недоуменно заметить: «Я думал, что у меня достаточно власти, чтобы здесь в стране дать почетное звание, кому я хочу...» Он предложил Эрлингу звание ярла, Эрлинг сказал так: «Предки мои были херсирами. Я не хочу носить более высокого звания, чем они» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», LIV, LV). Доходит и до прямого сопротивления: «...мне трудно кланятьсяТориру Тюленю, который рожден рабом, происходит из рабского рода, хотя он Ваш управитель, или другим людям, которые не выше родом, чем он, хотя они у Вас и в чести» («Сага об Олаве Святом», XCVI).

Утверждая свою власть, конунги-викинги действуют беспощадно, уничтожая старую знать, при случае — даже родичей: «Он приказал выколоть Хрёреку оба глаза и оставил его при себе. Гудрёду — конунгу из Долин — он велел отрезать язык. С Хринга и еще двух конунгов он взял клятву, что они уедут из Норвегии и никогда не вернутся назад. Лендрманнов и бондов, которые участвовали в заговоре, он либо изгнал из страны, либо велел изувечить, а некоторых он пощадил. Олав-конунг завладел всеми землями, которыми правили эти пять конунгов, а у лендрманнов и бондов взял заложников. Он велел, чтобы ему платили подати на севере в Долинах и во всем Хейдмёрке» («Сага об Олаве Святом», LXXV). В старой знати они видят прежде всего предводителей возможного сопротивления. «После гибели Эйнара... для того, чтобы лендрманны и бонды напали на него и вступили с ним в бой, недоставало только одного — не было вождя, который поднял бы знамя перед войском бондов» («Сага о Харальде Суровом», XLIV).

Но террор конунгов-викингов распространялся не только на знать. Олав Трюггвасон уничтожает колдунов и языческих жре-

цов. Когда бонды требуют, чтобы согласно старым обычаям он принес жертву языческим богам, Олав заявляет: «Но если уж я должен совершить с вами жертвоприношение, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвоприношение, какое только возможно, и принесу в жертву людей... Я принесу в жертву богам знатнейших людей... Я выбираю... И он назвал еще пять знатнейших людей» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», LVII).

Старая знать, старые обычаи, старые законы, т. е. вся структурная основа традиционного племенного, общинного самоуправления — вот главный противник, с которым борются конунги-викинги. Неожиданно, но закономерно их врагом становятся старые боги. «Вожди дружин», как называли конунгов скальды в духе вполне языческой поэзии, выступают злейшими противниками язычества. Конунги-викинги еще и конунги-миссионеры.

«Он сказал, что собирается возвестить христианство во всей своей державе и ввести его в Норвегии или умереть» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», LIII). «Тех, кто не хотел отказываться от язычества, он жестоко наказывал, некоторых он изгонял из страны, у других приказывал покалечить руки или ноги или выколоть глаза, некоторых он приказывал повесить или обезглавить и никого не оставлял безнаказанным из тех, кто не хотел служить богу» («Сага об Олаве Святом», LXXIII). Разрушая языческие капища, конунги уничтожают центры местного самоуправления, навязывая новое управление: «Он потребовал от нас, чтобы мы платили ему все подати, которые получал Харальд Прекрасноволосый, а кое в чем пошел еще дальше. И люди при нем настолько потеряли свободу, что никто уже не мог сам решать, в какого бога ему верить» («Сага об Олаве Святом», XXXVI).

Меняются не только вера, обычаи, святилища, но и организационная структура страны. «Олав-конунг собрал многолюдный тинг в том месте, где потом собирался Хейдсевистинг. Тогда он установил закон, что на этот тинг должны приезжать жители Упплёнда и что законам этого тинга должны подчиняться во всех тингах Упплёнда и во многих других местах, как это потом и было» («Сага об Олаве Святом», XCIV). Вводятся новые законы: «Одни законы он упразднял, а другие обновлял, если считал это необходимым... Он запрещал многие дурные обычаи и языческие обряды, потому что ярлы жили по старым законам и никому не навязывали христианских обычаев» («Сага об Олаве Святом», LVIII, LX). «Конунг направляется с востока вдоль побережья с большим войском и ломает старые законы страны, и те, кто ему противятся, подвергаются наказаниям и насилию» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», LIV).

Новая идеологическая, административная, в конечном счете общественная структура закрепляется основанием новых центров, крепостей и городов. «Так он соорудил большую земляную крепость. А внутри крепости он основал торговый посад. Там он

велел построить для себя палаты и поставить церковь Марии. Он велел размечать участки для других дворов и давал их людям, чтобы те там строились. Осенью он велел свезти туда все, что было необходимо на зиму, и остался там зимовать, и с ним было множество народу. А во всех округах он поставил своих людей» («Сага об Олаве Святом», LXI). Подобным же образом Олав Трюггвасон основал Нидарос («Сага об Олаве — сыне Трюггви», LXX). Заброшенный после гибели конунга, город был восстановлен Олавом Толстым: «Он размечал участки для застройки и давал их бондам, купцам и другим людям, которые ему пришлись по нраву и хотели там обосноваться. С ним там было много народу, так как он не полагался на верность трёндов и боялся, что они выступят против него» («Сага об Олаве Святом», LIII). Но не только на далеком севере страны — и на юге Хардрода основывает Осло: «Харальд-конунг велел построить торговый город на востоке в Осло и часто там жил, потому что туда было легко доставлять припасы из окрестных мест. Он бывал там также и для защиты страны от датчан, да и для набегов на Данию» («Сага о Харальде Суровом», LVIII).

Основанные конунгами-викингами города и крепости становятся местом сосредоточения новых функций: административных, культовых, торговых, ремесленных, военных. Но при этом они защищают конунга и его дружину не только от внешней, но прежде всего от внутренней опасности, от сопротивления общинников-бондов; не случайно с таким трудом возрождается Нидарос в Трёндалаге: трёнды не считают его *своим* городом, это — город конунга и пока что по крайней мере прочной социальной базы у такого города еще нет.

Социальной базой конунгов-викингов остается войско, отборное, противостоящее народному ополчению — «ледунгу». «Этим летом у меня было сначала три с половиной сотни кораблей (примерно так исчисляется предельная численность ледунга. — *Г. Л.*), когда я собирался в поход из Норвегии, но я отобрал из этого войска лучших и снарядил те шестьдесят кораблей, которые и сейчас со мною», — говорит Олав Толстый («Сага об Олаве Святом», CLI). А престижу конунга как правителя и вождя соответствуют размеры и красота его боевых кораблей. Так противники узнают Олава Трюггвасона: «И когда они увидели Великого Змея, все узнали его и никто не выразил сомнения в том, что на нем плывет Олав — сын Трюггви. И все пошли к кораблям и приготовились к бою» («Сага об Олаве — сыне Трюггви», CI).

Узость и своеобразие этой базы, отразившей всю специфику содержания скандинавской эпохи викингов, объясняет шаткое, при всей энергичности и масштабности действий, положение конунгов-викингов. «Раздумывая об этом, он вспоминал, что в первые десять лет его правления все шло у него легко и удачно, а потом, что бы он ни делал, все давалось с трудом и все его

благие начинания кончались неудачно» («Сага об Олаве Святом», CLXXXVII). Силой оружия утверждались конунги-викинги, силой оружия удерживали они власть и стремились решительно преобразовать страну, силой оружия их и свергали удачливые соперники, восставшие бонды или могущественные соседи.

Частая смена правителей, то овладевающих престолом, то вынужденных спешно покинуть страну, то возвращающихся с полученной за рубежом военной помощью, новым войском, характерна для всей поздней эпохи викингов. Из поколения в поколение возрождается тип государя, который может годами, а то и десятилетиями находиться за пределами страны, но во главе большого и умеющего отважно сражаться войска; если такому конунгу удается утвердиться на престоле, то, победоносно разгромив своих противников, он тут же стремится не просто упрочить, но максимально расширить пределы своих владений: затевает войны с ближайшими соседями, ввязывается в династические распри, вступает в бой за чужой престол. Военные скитания, жизнь при дворе могущественных зарубежных владык, стойкое сознание родовых прав на новое, королевское положение выработали у этих людей совершенно особый стиль поведения и мышления. Они всегда были готовы встать во главе одетого в железо войска и отправиться на завоевание любой подходящей для этого страны.

Жесткая связь с военной организацией (во многом независимая от окружающих условий), территориальная и социальная мобильность, энергичность, резкость, жестокость действий, готовность к радикальным преобразованиям (не всегда успешным), устойчивость политических претензий (при самых различных превратностях жизненной судьбы) — типичные черты конунгов-викингов. Время их правления обычно становится временем резких перемен, знаменовавших качественные сдвиги в процессе становления государства.

Конунгов-викингов периодически сменяли правители иного типа. Времена решительных и кровавых реформ чередовались с мирными годами, которые «были урожайными и доходными и на суше и на море». Правители такой поры отличались склонностью к компромиссам, готовностью отказаться от некоторых достижений своих предшественников. Так, «Хакон начал свою речь с того, что он просит бондов дать ему сан конунга, а также оказать ему поддержку и помощь в том, чтобы удержать этот сан. В обмен он обещал вернуть им в собственность их отчины. Это обещание вызвало такое одобрение, что вся толпа бондов зашумела и закричала, что они хотят взять его в конунги... выбрали себе конунга, во всем похожего на Харальда Прекрасноволосого, с той только разницей, что Харальд весь народ в стране поработил и закабалил, а этот Хакон желает каждому добра и обещает бондам вернуть их отчины» («Сага о Хаконе

Добром», VI). Нет в них и религиозной нетерпимости: «Хаконконунг был хорошим христианином... Но так как вся страна была тогда языческой и жертвоприношения — в обычае, а в стране было много влиятельных людей, он решил скрывать свое христианство. Пока он склонял к христианству только тех, кто был ему всего ближе. Из дружбы к нему многие тогда крестились, а некоторые даже оставили жертвоприношения» («Сага о Хаконе Добром», XIII). Эти неофиты — по крайней мере, самые радикальные из них — пошли в своем христианском рвении даже дальше конунга (отказавшись от жертвоприношений), потому что сам Хакон отнюдь не пренебрегал этой традиционной королевской общественной обязанностью и торжественно приносил языческие жертвы Одину и Тору.

При безусловной личной храбрости и других вполне викингских достоинствах эти конунги в военном деле бывают осмотрительны и осторожны. Хакон раздумывает и советуется с ближними, «сражаться ли ему с сыновьями Эйрика, несмотря на их численное превосходство, или уходить на север, чтобы собрать больше войска» («Сага о Хаконе Добром», XXIII). Разителен контраст с призывом Олава: «Будем сразу же решительно наступать, тогда исход битвы может быстро решиться, даже если наши силы неравны» («Сага об Олаве Святом», CCXI).

Совершая преобразования — и при этом иной раз весьма дальновидные, — эти конунги действуют также осторожно, заручившись поддержкой влиятельных предводителей знати и бондов. «Он учредил законы Гулатинга по советам Торлейва Умного и законы Фростатинга по советам Сигурда-ярла и других трандхеймцев, которые считались наиболее умными» («Сага о Хаконе Добром», XI). «Конунг посоветовался с мудрейшими мужами, и законы были приведены в порядок. После этого Магнус-конунг велел составить сборник законов, который еще хранится в Трендалаге и называется Серый Гусь. Магнус-конунг приобрел в народе любовь. С тех пор его стали звать Магнусом Добрым» («Сага о Магнусе Добром», XVI). Эти три судебника действовали в Норвегии до XIII в. включительно.

На своих начинаниях, даже не слишком значительных, конунги далеко не всегда настаивают. «Он велел заложить там каменную церковь — но при нем постройка ее мало продвинулась — и достроить старую деревянную церковь» («Сага об Олаве Тихом», II).

Но при том же Олаве численность королевской дружины резко возрастает, хотя он стремился сделать это не слишком заметно. «...Вам от этого нет угнетения, и я не хочу вас притеснять», — заявляет он бондам. Норвежское купечество получило гильдейскую организацию. Был основан город Берген, крупнейший из торговых центров страны.

В скандинавских странах исподволь, своим путем формировались основы средневекового общественного порядка. Необхо-

димы были глубокие хозяйственные и общественные преобразования для того, чтобы вывести североевропейское общество на «общеевропейский уровень». Войны и завоевания чередуются или идут бок о бок с внутренними процессами. «Добрые», «спокойные», «мирные» конунги, сменявшие конунгов-викингов, закрепляли достижения своих воинственных предшественников и готовили почву для столь же активных преемников. Шло количественное накопление изменений в общественной, экономической, политической жизни, и эти изменения подготавливали дальнейшее развитие, качественные преобразования на пути феодализации скандинавских стран.

Диалектическая двойственность действий формирующегося господствующего класса в условиях создания государства закономерна и не составляет специфики скандинавских стран. Подобные же чередования типов правителей легко выделяются и в других исторических условиях, однако именно своеобразная и яркая культура Скандинавии эпохи викингов запечатлела образы лидеров с особой силой и четкостью.

Литература

1. Гуревич А. Л. История и сага. М., 1972.
2. Гуревич А. Л. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967.
3. Исландские саги. М., 1956.
4. Ковалевский С. Д. Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977.
5. Лебедев Г. С. Социальная топография могильника «эпохи викингов» в Бирке. — Скандинавский сборник, XXII. Таллин, 1977, с. 141—158.
6. Стурлусон Снорри. Круг земной. М., 1980 (далее цитируются саги с указанием глав).
7. Randsborg K. The Viking age in Denmark. The formation of a state. London, 1980.

В. Н. Завражин

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИОАННА КАНТАКУЗИНА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ОЙКУМЕНИЗМА

(по материалам «Истории» Иоанна Кантакузина)

В общественно-политической жизни византийского государства 30-х — первой половины 80-х годов XIV в. одно из центральных мест принадлежит Иоанну Кантакузину. Влиятельнейший аристократ, крупнейший политический деятель, император и, наконец, царственный монах — вот диапазон тех исторических ролей, которые пришлось сыграть Кантакузину в наиболее критический период, когда междоусобные и гражданские войны, со-

провождаемые агрессией извне, окончательно обескровили империю (3, с. 161).

Кантакузин представлял собой особый тип личности; соединяя в себе качества политика и писателя, он в жизни выступал все же скорее как человек действия, практик, нежели мыслитель (7, p. 169—170). Его перу принадлежит одно из самых значительных произведений рассматриваемой эпохи — «История», имеющая ярко выраженный мемуарный характер и по богатству фактического материала, широте охвата различных сторон жизни (прежде всего политической), конкретности описываемых событий 20—50-х годов XIV столетия не знающая себе равных в византийской историографии. Будучи неизбежно тенденциозной, «История» в значительной мере благодаря именно этому своему качеству четко вырисовывает перед нами контуры тех политических идей, которыми руководствовался или пытался руководствоваться ее автор, долгие годы находясь у руля государственной власти. Апология Кантакузином своей деятельности, стремление предстать перед читателем в качестве охранителя и продолжателя «славных традиций ромеев» дает возможность глубже охарактеризовать те идейно-политические представления, которые лежали в основе этих традиций. В то же время подробное, нередко детальное изложение событий (проистекающее из жанровых особенностей источника) позволяет достаточно отчетливо проследить и те изменения в соотношении традиционной политической теории и конкретной государственной практики, которые наиболее ясно определились и получили развитие в рассматриваемый период поздневизантийской истории.

Усилившаяся к середине XIV в. агрессивность со стороны соседей выдвинула в число наиболее актуальных внешнеполитические аспекты деятельности византийского государства. Практическая деятельность Кантакузина в этом плане, сначала как великого доместика Андроника III, а затем и в качестве императора, осуществлялась согласно традиционным принципам официальной идеологической доктрины, провозглашавшей незыблемость власти империи над ойкуменой и руководящую роль ромеев над прочими народами.

Для понимания представлений автора «Истории» о подобающем Византийской империи положении в системе международных отношений и о глубокой зависимости этого положения от внутренней стабильности государства важное значение имеет произнесенная им в 1347 г. речь на константинопольской народной экклесии. Пытаясь заручиться поддержкой населения в предстоящей войне с внешними врагами, Кантакузин напоминает собравшимся о славном прошлом, когда «древнее счастье империи ромеев было замечательным для лицезрения» и когда «одни из окружающих варваров были побеждены и покорены ромеями, другие же всегда оставались данниками», противопоставляя это прошлое безотрадному настоящему, при котором

«императоры начали спорить и соперничать и, забыв о битве с врагами, начали сталкиваться с единоплеменниками. Прочие же, пренебрегая общей пользой и отбросив повиновение законам и властям, обратились к накоплению всяческим образом собственных средств — и все пошло вверх дном. В результате мы лишились наибольшей части славы и дошли до такой степени бессилия, что речь уже идет не о том, чтобы нам порабощать других, но как бы самим постыдно и недостойно не оказаться в рабстве» (5, v. 154, p. 44).

Обращение Кантакузина к славному прошлому византийского государства, будучи эмоционально насыщенным риторическим приемом, отнюдь не свидетельствует о полном его неверии в счастливую судьбу империи (7, p. 167). Напротив, смысл речи сводится к необходимости поисков таких совместных решений, «при помощи которых станет возможным, чтобы ромеи снова вернулись к прежнему счастью» (5, v. 154, p. 48). Для достижения этой цели согласно решению столичной экклесии необходимо было, чтобы император при всестороннем содействии народа «правильно управлял [делами] и встречал врагов с войском, пытаясь возвратить захваченные [ими] города» (5, v. 154, p. 48). Аналогичным было и понимание Кантакузином своего назначения в качестве императора, получившего державу «словно отцовское наследство» и призванного охранять ее всеми силами от врагов, преумножая ее славу (5, v. 154, p. 165).

Однако, будучи достаточно трезвым политиком, Кантакузин стремился прежде всего к достижению реальных целей. Идея восстановления «вселенской империи ромеев» выступает у него на двух уровнях: абстрактно-теоретическом и конкретно-практическом. Великодержавные представления автора «Истории», как и его многих современников,* отличаясь весьма общим подходом к проблеме воссоединения империи и отражая традиционную концепцию византийской государственности, служили той идеологической платформой, на которой основывалась повседневная политическая деятельность императора. На фоне неопределенных, эмоционально насыщенных «ойкуменических» рассуждений Кантакузина о былом величии империи довольно отчетливо вырисовываются непосредственные, насущные военно-политические задачи, среди которых исключительно важное, центральное значение придается походу в Пелопоннес. По мнению Кантакузина, «в результате этого держава ромеев, как в древние времена, станет объединенной от Пелопоннеса до Константинополя» (5, v. 153, p. 769). Этот весьма скромный план

* Так, например, Дмитрий Кидонис, связывая надежды на установление сильной императорской власти с именем Кантакузина, мечтал о создании государства, охватывающего «народы и города, острова и континенты» (4, ер. № 6). В свою очередь, один из самых ярых противников Кантакузина Никифор Григора также отдает дань идее восстановления единой империи, как это было в прежние времена (6, p. 279).

воссоединения византийского государства, видимо, представлялся Кантакузину (сообразно условиям середины XIV столетия) не столько в качестве начального этапа осуществления более широких замыслов, сколько оптимальной программой, на реализацию которой можно было еще рассчитывать. Именно в рамках данного плана своеобразной поздневизантийской «реконкисты» Кантакузин определяет реально мыслимые им границы восстановления империи. Таким образом, в практическом смысле само понятие «ойкумена» ограничивается у Кантакузина территориями на Балканах и некоторыми островами в Эгейском море. Это вытекает также из всего контекста его обширной «Истории».

Однако, активно действуя в данных ограниченных территориальных рамках, Кантакузин в полной мере использует традиционные великодержавные приемы в отношениях с соседями Византии. Так, будучи еще великим доместиком и ведя переговоры с наместником осаждаемого византийцами города Арты (в Эпире), Кантакузин мотивирует действия своего правительства следующим образом. Прежде всего он напоминает, что Ангелы, управляющие Акарнанией (так в «Истории» именуется Эпир), воспользовались затруднительным положением империи и узурпировали верховную власть в области. При этом подчеркивается, что Ангелы никогда прежде не владели последней в качестве самостоятельной державы, но, «будучи подчиненными императорам ромеев, получали от них ежегодную власть над страной» (5, v. 153, p. 640). Далее, обосновывая законность притязаний Византии на возвращение ей территорий, Кантакузин заявляет, что было бы ошибкой считать длительность независимого управления Ангелами Акарнанией достаточным основанием для окончательного ее отложения от Византийской империи (5, v. 153, p. 641). Таким образом, в данном эпизоде Кантакузин формально остается вполне верным принципу территориального единства империи: византийское государство никогда не забывает о том, что когда-то было им утрачено. Сами потери мыслятся автором «Истории» как временное явление. Однако характерно, что, несмотря на амбициозные заявления Кантакузина, подкрепляемые к тому же успешными военными действиями, фактическое управление Акарнанией воссоединенными территориями всей западной Греции в конечном счете вновь передается в руки Ангелов, в то время как константинопольское правительство довольствуется признанием их ленной зависимости (5, v. 153, p. 1009, 1012).

Компромисс, при котором империя в лучшем случае сохраняет за собой формальный суверенитет над фактически отторгнутыми у нее владениями, становится в 40-е годы XIV в. основным средством в руках византийского правительства для решения внешнеполитических задач. Характерны в этом плане отношения Византии с генуэзцами на Хиосе (5, v. 154, p. 96), в Но-

вой Фокее (5, v. 153, p. 496), в районе Галаты (5, v. 154, p. 93). Все чаще правительство Кантакузина вынуждено идти на территориальные уступки. Так, для того чтобы вернуть себе город Анхиал, византийцы должны были уступить болгарам город Ямбол (5, v. 153, p. 581). По одному из пунктов соглашения с сербским правителем Душаном (1343 г.) Кантакузин обязуется «не требовать ни одного из ромейских городов, над которыми краль стал господином, получив [их] в наследство от отца или сам захватив еще во времена жизни императора Андроника» (5, v. 153, p. 961). Из этого, конечно, не следовало, что Кантакузин смирился с создавшимся положением и отказался от дальнейшей борьбы с Сербией за гегемонию на Балканах. И хотя новая фаза соперничества была чрезвычайно тяжелой для Византии, поскольку Душан, «захватив уже большую часть державы ромеев, провозгласил себя императором ромеев и сербов» (5, v. 153, p. 1237), тем не менее Кантакузин проявил исключительную настойчивость в попытках восстановить империю. Однако отсутствие у Византии необходимых материальных возможностей все более вынуждает Кантакузина прибегать в решении территориальных вопросов не к силе оружия, а к ведению переговоров, к компромиссам. Несмотря на свою великодержавную риторику, в которой по-прежнему звучат традиционные мотивы о величии империи ромеев, ее безусловных суверенных правах на ту или иную отнятую у нее территорию, император явно не решается «рисковать всем ради спасения потерянного» (5, v. 154, p. 169).

К началу 50-х годов XIV в. в связи с усилением натиска турок тактика проведения переговоров, компромиссов, частичных уступок врагу представляется Кантакузину единственно возможной и реалистичной. В условиях, когда силы государства были истощены, Кантакузин хорошо понимал необходимость временного отказа от наступательного характера внешней политики. По его мнению, «должно быть довольными и ценить то, что мы не потеряли имеющееся» (5, v. 154, p. 305). Он удерживает молодого императора Иоанна V Палеолога от немедленной войны с варварами (турками), ссылаясь на отсутствие средств и силу врагов (5, v. 154, p. 305). Разумеется, все это не означало полного обесценивания в глазах Кантакузина официальной доктрины ойкуменизма. Речь шла лишь о трезвом соотнесении ее гегемонистских принципов с условиями времени. Поиски конкретных практических решений главной задачи момента — борьбы за само существование византийского государства — по необходимости все более и более отодвигают на второй план абстрактные великодержавные установки, реальное значение которых во внешнеполитической деятельности Кантакузина сводится к выполнению роли мобилизующего фактора в отражении внешней агрессии. И все же при всей своей способности реально оценивать сложившуюся ситуацию в концептуальном отношении

Кантакузин остается в плену традиционных ойкуменических представлений о международной роли Византийской империи. При всех изменениях в методах внешней политики, проводимой Кантакузином, общая, непреходящая цель ее остается прежней — «возвращение временно утраченных Византией территорий». В качестве разумной программы действий Кантакузин предлагает подготовить войско и флот, позаботиться о союзниках. До тех пор, пока не будут осуществлены эти меры, единственное средство в отношениях с варварами должно состоять в том, чтобы «посылать к ним посольства, укреплять существующий мир и пытаться скорее предусмотрительностью и разумным решением спасать города во Фракии и брать [их] назад по договору» (5, v. 154, p. 398). Идея «византийской ойкумены», хотя и в весьма «урезанном» виде, по-прежнему мыслилась Кантакузином единственно приемлемым идеологическим обоснованием его внешнеполитической деятельности. При этом не столько практическая политика служила идее ойкуменизма, сколько сама эта идея использовалась Кантакузином в качестве орудия практической политики. Однако в условиях середины XIV в. даже относительно гибкий внешнеполитический прагматизм Кантакузина не был в состоянии предотвратить прогрессирующее разрушение империи.

Важно при этом иметь в виду, что несостоятельность политики с позиций ойкуменизма не в последнюю очередь объяснялась и той двойственной ролью, которую Кантакузин играл в жизни страны. Будучи императором, он в то же время выступал и как наиболее видный представитель и выразитель интересов земельной аристократии. В этом качестве Кантакузин в период гражданской войны 1341—1354 гг. существенным образом способствовал закреплению тенденции к разделу территории Византии на семейные уделы. В заключительных главах «Истории» ее автор предстает перед нами как человек весьма озабоченный частными интересами своего семейства. Вынужденный отречься от престола, Кантакузин пытается укрепить могущество своего сына, передав ему в пожизненное пользование, «совершенно свободное и безотчетное, Адрианополь с родопскими городками» (5, v. 154, p. 301). Таким образом, общегосударственные политические интересы Кантакузина-императора находились в противоречии и все более уступали место узкорегиональным клановым интересам Кантакузина — феодального магната. Данное обстоятельство сводило на нет усилия Кантакузина, направленные на воссоединение бывших византийских территорий в рамках единой империи. Сами границы территориальных притязаний Византии к середине XIV в. постепенно сужаются, распространяясь лишь на Фракию и Македонию.

Внешнеполитическая деятельность Кантакузина, в теории осуществляемая в рамках официальной концепции «византийской ойкумены», на деле была жалким ее отражением. Однако и пре-

вратившись в политическую фикцию идея «вселенской империи» продолжала сохранять свое идеологическое значение на протяжении всего поздневизантийского периода (1, с. 126; 5, с. 99). Будучи исторически изжитой, обращенной скорее в прошлое, нежели в будущее, теория ойкуменизма в то же время заключала в себе достаточную гибкость, чтобы претендовать в середине XIV столетия на определенную консолидирующую роль не столько в деле расширения границ Византии, сколько в сохранении самой ее государственности. Объективно отражая линию на централизацию, концепция ойкуменизма тем не менее не стала и тем идеологическим фактором, который мог способствовать формированию в Византии национальной монархии. Для этого здесь не сложились необходимые экономические и социально-политические предпосылки.

Поражение Кантакузина-императора одновременно означало победу Кантакузина-аристократа и стоящих за ним сепаратистских сил, ведших к созданию мелких территориальных образований. А это в конечном счете означало практическое крушение ойкуменических притязаний Византии.

Литература

1. Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976.
2. Сметанин В. А. О тенденциях идеологической и социальной динамики поздневизантийского общества в период перманентной войны. — Античная древность и средние века, 1975, № 11.
3. Удальцова З. В. Византийская империя в последнее столетие своей истории. Завоевания турок на Балканском полуострове. Византия и Запад. — В кн.: История Византии. М., 1967, т. 3.
4. Démétrius Cydonès. Correspondance / Publ. par. R.-J. Loenertz. Città del Vaticano, 1956, vol. 1.
5. Joannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum libri IV. — In: PGr., vol. 153, 154. Paris, 1866.
6. Nicephori Gregorae Byzantina Historia / Ed. L. Schopen. Bonnae, 1829, vol. 1.
7. Teoteoi T. La conception de Jean VI. Cantacuzène sur l'état byzantin vue principalement à la lumière de son Histoire. — Revue des études sud-est européennes, 1975, 13, fas. 2.

Ю. П. Малинин

МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА ВО ФРАНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (Филипп де Коммин)

Во второй половине XV в. Франция вступила в решающую стадию политического объединения, для которого в стране сложились все необходимые социально-экономические и политические предпосылки. Победа в Столетней войне, поставившей под угрозу государственный суверенитет Франции, ускорила

процесс политической консолидации, высоко подняв авторитет королевской власти, которая стала оплотом национального единства и получила поддержку широких слоев населения в ее борьбе с сепаратизмом феодальной знати. В то же время беспрецедентно затяжные военные действия подорвали экономическое и военно-политическое могущество знати и дали королевской власти право ввести постоянный прямой налог для содержания регулярной наемной армии. Это право, сохраненное по окончании войны, обеспечило ей необходимые средства для наступления на силы феодальной оппозиции.

В борьбе королевской власти за политическую централизацию страны на данном историческом этапе закладывались основы абсолютной монархии. Политическая система, шедшая на смену монархии с сословным представительством, вырабатывала свои принципы государственного управления и создавала новый тип государственного деятеля, проникшегося задачей всемерного укрепления власти короля.

Французские короли, стремясь освободиться от «опеки» феодальной знати, еще с конца XIII в. начали практиковать введение в королевский совет, который по феодальному праву должен был состоять из их прямых вассалов, своих доверенных лиц, обычно из небогатых дворян, юристов, клириков, создавая таким образом особый «тайный», или «тесный», совет, который и ведал основными государственными и административными делами. В XV в. по мере упрочения центральной власти после кризиса, пережитого ею во время Столетней войны, эта практика возобновилась. Особенно она характерна для короля Людовика XI (1461—1483), правление которого, как принято считать, и положило начало французскому абсолютизму. Что представляли собой эти облеченные доверием короля люди, в чьих руках сходились нити государственного управления? Их идеи и нравственный облик отражают эволюцию политической власти, и поэтому данный вопрос представляет большой интерес при изучении столь важной проблемы, как становление абсолютизма. С этой целью обратимся к личности одного из наиболее видных политиков второй половины XV в. Филиппа де Коммина (1447—1511), автора знаменитых «Мемуаров», замечательного памятника исторической и политической мысли этой эпохи.

Коммин происходил из знатного фламандского рода и свою политическую карьеру начал при бургундском дворе, где выдвинулся в ряд ближайших советников герцога Карла Смелого и стал заниматься главным образом вопросами внешней политики. Бургундский герцог в это время был наиболее опасным противником французского короля Людовика XI, и исход борьбы между ними имел решающее значение для судеб французской монархии. В разгар борьбы между ними Коммин, изменив своему «природному» государю Карлу Смелому,

бежал к Людовику XI, с которым еще задолго до этого завязал отношения и начал оказывать различные услуги, щедро тем оплачиваемые. Посвященный во многие сокровенные вопросы бургундской политики Коммин был ценнейшим приобретением для короля, и тот, по-царски наградив Коммина деньгами и поместьями, сделал его своего рода первым министром.

В то время миланский посол писал о Коммине. «Он один правит вместе с королем и является всем во всем; столь же могущественного и с таким большим весом, как он, больше никого нет» (3, p. 67). Однако король не всегда доверял Коммину (о чем последний пишет сам) и, вероятно, не без оснований. Есть, например, косвенные свидетельства того, что Коммин получал крупные суммы от дома Медичи в качестве платы за политические услуги, которые он оказывал втайне от короля (2, p. 6).

В последние годы жизни Людовика XI влияние Коммина при дворе заметно пошло на убыль, и после смерти короля он был выведен из состава королевского совета. С этого момента и до конца жизни Коммин вел упорную борьбу за то, чтобы удержаться у кормила власти и сохранить свое огромное состояние. С этой целью он переметнулся на сторону феодальной оппозиции, выступившей против правительства малолетнего короля Карла VIII, и благодаря ее поддержке вернул свое место в совете. Но как ставленник мятежных принцев Коммин недолго продержался в совете и был изгнан из него, как он пишет, «грубыми и безрассудными словами» (1, v. 3, p. 9). За дальнейшее участие в антиправительственной лиге, которой он помогал деньгами и советами, Коммин был арестован и заключен в одну из знаменитых железных клеток, устроенных Людовиком XI в донжоне Лошского замка, а затем по решению суда выслан в свои поместья. Позднее короли Карл VIII и Людовик XII использовали его в качестве опытного дипломата, но лишь на вторых ролях.

Измена своему государю и переход на службу к его смертельному врагу лучше всего, пожалуй, характеризуют личность Коммина — человека, готового за большую мзду служить всякому, кто ее предложит. Для него феодальная верность была не более, чем разменная монета в политической игре. Такие отношения были общим поветрием эпохи. В «Мемуарах» Коммин приводит немало примеров политической измены и неоднократно предостерегает государей от этой опасности, особенно обращая их внимание на дипломатов и вообще участников переговоров с политическими противниками как на наиболее подверженных подкупу. Рассказывая о мирных переговорах между королем Людовиком XI и начавшей против него войну феодальной лигой Общественого блага, Коммин замечает, что «не проходило и дня, чтобы из-за этих встреч десять или двенадцать человек не бежало от короля к сеньорам или наоборот» (1, v. 1, p. 65). Из этого автор «Мемуаров» делает вывод, что

«если приходится вести мирные переговоры, то нужно использовать самых верных слуг, какие только есть у государя, причем среднего возраста, чтобы по слабости своей они не вошли в какую-нибудь бесчестную сделку, и предпочитать следует таких, которые были государем облагодетельствованы и обласканы...» (1, v. 1, p. 66). Вспоминает он и другой случай. Приехав в Кале по поручению Карла Смелого для переговоров с представителями английского короля Эдуарда IV, Коммин застал там перемену власти, ибо город был передан его комендантом в руки Ланкастеров. В этой связи Коммин пишет: «Впервые я тогда узнал, что вещи сего мира непостоянны... ибо те люди, которых я считал лучшими друзьями короля (Эдуарда IV. — *Ю. М.*), оказались его наиболее опасными врагами (1, v. 1, p. 209).

Коррупцию или даже полное отсутствие нравственных устоев в политических кругах вряд ли можно считать особенностью именно данной эпохи, хотя есть основания полагать, что в XV в. это явление приобретает больший размах, чем в предыдущие столетия, и становится неотъемлемой чертой политической жизни не только во Франции, но и в других западноевропейских странах. Особенность же эпохи заключается в том, что аморализм в это время из области практики проникает в область теории; свидетельством тому могут служить социальные и политические взгляды Коммина.

Освещая в «Мемуарах» политическую борьбу своего времени, Коммин никоим образом не осуждает сомнительные с точки зрения морали приемы, используемые в ней, и не противопоставляет такому положению вещей какой-либо этико-политический идеал, как обычно делали средневековые мыслители. Рассказывая, например, о подкупе людей во время переговоров, он даже восхваляет тех правителей, которые с успехом это делают, полагая, что если они умеют переманивать на свою сторону людей, «значит им господь даровал большую милость, ибо это признак того, что они не запятнаны безрассудным пороком гордыни» (1, v. 1, p. 66). Аналогичным образом Коммин настоятельно рекомендует дипломатический шпионаж и советует почаще засылать посольства к противнику. «Могут сказать, что ваш враг от этого возгордится, — замечает он, подразумевая, что враг будет горд тем, что ему выказывают большое почтение многочисленными посольствами, — но меня это не трогает, так как я буду иметь больше сведений о нем, а в конечном счете кто получит выгоду — тому будет и честь» (1, v. 1, p. 220).

Ма́ксима «кто получит выгоду — тому будет и честь» или «кто побеждает — тому всегда и честь» проходит рефреном в «Мемуарах» и выражает житейское и политическое кредо их автора. Иными словами, он сознательно придерживается пресловутого принципа «цель оправдывает средства».

Коммин исходит из того, что человек по своей природе зол, и поэтому «ничто — ни природный разум, ни наш ум, ни страх перед богом, ни любовь к ближнему — не оберегает нас от насилий по отношению к другим...» (1, v. 2, p. 212). Постоянная вражда между людьми вытекает из самой их природы, поскольку «большая часть людей естественно желает возвеличиться или спастись... есть, правда, столь добрые и твердые люди, что не имеют таких побуждений, — добавляет Коммин, — но их мало» (1, v. 1, p. 66). Чтобы сдерживать людские страсти и поддерживать относительный порядок в этом мире, где бессилен нравственный закон и страх перед посмертным воздаянием, бог, как полагает Коммин, дал каждому противника: «Мне кажется, что господь ни одной вещи не сотворил в этом мире — ни человека, ни животного, чтобы не создать их противоположностей, дабы держать их в страхе и смирении» (1, v. 2, p. 207—208).

Таким образом, взаимная вражда людей, по мнению Коммина, предопределена не только их природными склонностями, но и особым богоустановленным порядком. (Заметим, что эта идея была большим отклонением от характерной для средневековых социальных воззрений тенденции рассматривать всякого рода борьбу как нарушение божественного законопорядка.) Поэтому, чтобы успешно управлять сообществом людей, раздираемых постоянными распрями, нужен, как считает Коммин, сильный и мудрый монарх, чью деятельность он не склонен ограничивать какими-либо нравственными узами, полагая, что все средства хороши ради успеха. За свои деяния король в ответе перед одним лишь богом.

Залогом успешной политической деятельности, как, впрочем, и любой другой, для Коммина является мудрость, под которой он понимает не высокую степень нравственного совершенства человека, а его искусность в управлении делами, приобретаемую благодаря большому практическому опыту и здравому природному рассудку. Ум и опытность, предполагающие в то же время и хитрость, — вот главные для него достоинства человека, которые затмевают все прочие. Так, рассказывая о войнах Карла Смелого, Коммин замечает, что герцог «был достаточно храбр, чтобы руководить армией... он был могуч людьми и деньгами, но для ведения своих дел у него было недостаточно ума и хитрости. А ведь если нет большого ума, все остальные необходимые для войны вещи ничего не стоят» (1, v. 1, p. 189). Коммин противопоставляет герцогу турецкого султана Мухаммеда II, «пользовавшегося более умом и хитростью, нежели храбростью» и сумевшего не только завоевать огромные территории, но и стать великим государем (1, v. 2, p. 337).

Чтобы понять причины появления столь прагматической концепции, следует иметь в виду, что она возникла в эпоху

упадка рыцарства и обесценения христианско-рыцарских этико-политических идей. Более того, эти идеи, выражавшие принципы прежнего феодального социально-политического устройства, в условиях решающей борьбы королевской власти с феодальной аристократией стали объектом целенаправленной критики сторонников политической централизации. Коммин, например, последовательно отрицает ценность норм рыцарского кодекса чести. Сама честь для него лишь следствие успеха, она не предполагает каких-либо нравственных обязательств. Некоторые нормы он просто игнорирует, противопоставляя им такие качества, которые для рыцаря были пороками. Так, в разряд больших достоинств он возводит страх, или боязливость, в пику рыцарской храбрости, поскольку «люди, действующие в страхе, более осторожны и чаще добиваются успеха» (1, v. 1, p. 121). Понятие феодальной верности он подменяет понятием повиновения государю, подданничества. Эта подмена была вполне в духе политики Людовика XI, который в стремлении сделать из своих вассалов послушных подданных упразднил в официальных бумагах термин «вассал», заменив его термином «подданный». Никакой ценности Коммин не придает и сугубо христианскому этико-политическому идеалу, согласно которому человек не может хорошо управлять людьми, если он не добродетелен.

Принадлежа к ближайшему окружению короля Людовика XI, Коммин жил, как представляется, в обстановке своеобразного нравственного вакуума, образовавшегося вследствие того, что старые ценности были отброшены, а новые не обретены, и ориентиром мог служить только успех того или иного действия. Но если эта специфическая духовная атмосфера и ожесточенный характер политической борьбы, сам по себе отрицавший нравственные ценности, объясняют причины свойственного эпохе аморализма в политической практике, то для понимания причин теоретического обоснования и оправдания этой практики следует принять во внимание и субъективный фактор. Как политик-практик, приобщенный к высшей политике и постигший на личном опыте ее тайны, Коммин с явным пренебрежением относился к наукам своего времени, и прежде всего к науке политической. «Совершенный природный ум превосходит все науки, какие только можно изучить в этом мире», — пишет он и не без определенной гордости называет себя человеком, «не образованным в литературе, но имеющим некоторый опыт». (1, v. 1, p. 130; v. 2, p. 340). Чувство своего превосходства в знании и понимании политической жизни было, несомненно, важным мотивом, побудившим его объяснить эту жизнь по-своему и дать тем самым ценные наставления государям.

Но своеобразие политической теории Коммина, заключающееся в крайнем прагматизме, от которого веет идеологиче-

ским безвременьем его эпохи, стало причиной того, что эта теория оказалась в стороне от дальнейшего пути развития французской социально-политической мысли. Это была первая попытка создать идеологию становящегося абсолютизма, а точнее говоря, — теоретически обосновать его практику, но она не была подхвачена и не получила дальнейшего развития.

Литература

1. Commynes Fh. de. Mémoires / Éd. J. Calmette. Paris, 1924—1925, t. 1—3.
2. Les lettres de Ph. de Commynes aux archives de Florence / Éd. H. Benoist. Lyon, 1863.
3. Dufournet J. La vie de Ph. de Commynes. Paris, 1963.

Н. А. и Н. Е. Копосовы

УРОКИ КОЛЬБЕРА ИНТЕНДАНТАМ

В XVI—начале XVII в. французские короли управляли страной с помощью двух параллельных административных систем—института губернаторов, позволявшего инкорпорировать в государственную власть могущество феодальной знати, и «старой» парламентской бюрократии, буржуазной по происхождению, но более или менее интенсивно одворянивавшейся. Ни губернаторы, ни парламенты не были вполне покорным орудием короля. Они были в первую очередь самостоятельными социальными силами, с интересами которых приходилось считаться, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации. Это, однако, не всегда оказывалось возможным. Политические потрясения сопровождались конфликтами монархии с ее собственным государственным аппаратом. Дальнейшее усиление королевской власти, диктовавшееся объективными интересами господствующего дворянского класса в целом, требовало создания такой административной машины, которая была бы отчетливо противопоставлена обществу и во всем послушна монарху. Процесс формирования «новой бюрократии», ключевым элементом которой стали интенданты провинций, начался еще при Ришелье, но завершился в период министерства Кольбера (1661—1683).

Новые учреждения требовали новых людей. Но если в историографии уже немало сделано для изучения института интендентов, то вопрос об их социально-психологическом облике не привлек еще заслуженного внимания. Между тем без учета мировосприятия, привычек, административных навыков и стереотипов поведения «новых бюрократов» невозможно всесторонне объяснить политику монархии «старого порядка». В данной статье мы не рассчитываем разрешить все эти вопросы; попытаемся лишь выявить некоторые черты профессионального облика Кольбера-министра.

Переворот в административной практике, осуществленный при Кольбере, сопровождался активным освоением «новыми бюрократами» секретов «искусства управлять». Их наставником был сам генеральный контролер (Кольбер), пожалуй, первый законченный бюрократ во французской истории, стремившийся «сделать из интендантов своих тридцать alter ego, с помощью которых он мог бы управлять Францией» (5, v. 1, p. 320). В письмах и инструкциях Кольбер преподносил интендантам в виде непреложных максим правила поведения бюрократа и настойчиво, порой раздраженно, требовал их соблюдения. Анализ этих документов позволяет восстановить «кодекс бюрократа по Кольберу», хотя, впрочем, сам генеральный контролер не пытался систематизировать свой опыт.

Личность Жана-Батиста Кольбера многократно описывалась историками. Чиновник по происхождению, воспитанию и карьере, фанатично преданный монархии, поглощенный государственными делами, неутомимо деятельный, упорный, в высшей степени самоуверенный, не склонный теоретизировать, но взамен затвердивший известное число догм и правил, начисто лишенный чувства юмора, черствый, бесстрастный и чопорный, Кольбер был зримым воплощением обезличенного бюрократа. Это, конечно, не значит, что он был лишен личных интересов. Кольбер пришел к власти в борьбе группировок финансистов, составил на посту генерального контролера изрядное состояние, вывел в люди и своих многочисленных родственников и партнеров. Тем не менее предпринятая недавно попытка изобразить деятельность Кольбера как исключительно своекорыстную политику главы лобби откупщиков (3), представляется нам не вполне правомерной. Вероятнее, что стремление вознаградить себя за службу благополучно сочеталось в Кольбере с искренним желанием служить государству.

Из своих интендантов генеральный контролер воспитывал высокопоставленных функционеров. Первыми его требованиями были высокая работоспособность и активность, которыми он сам отличался. Вот характерный отрывок из письма Кольбера к его родственнику, новоиспеченному интенданту Аланссона М. Кольберу: «Необходимо, чтобы Вы всегда исследовали, не ожидая, пока Вас побудят к этому лица, ответственные за поступления налогов, что можно сделать для ускорения этих поступлений. И вместо того, чтобы подвергаться давлению, необходимо, чтобы Вы сами давили на них» (4, t. 2, pt. 1, p. 296). По мнению Кольбера, без постоянного «давления» невозможно добиться успеха в делах. Достаточно перелистать переписку Кольбера, чтобы убедиться, с какой настойчивостью сам министр добивался выполнения этого правила.

Не менее важным качеством чиновника является дисциплинированность. В среде интендантов, видимо, дело с ней обстояло достаточно благополучно, а вот представители «стар-

бюрократии» такой дисциплиной не отличались. Кольбер пишет интенданту Экса Руйе, что нельзя спускать парламентам нарушения королевских указов, даже если по существу дела они правы (4, t. 2, pt. 1, p. 286), своеволие подчиненных недопустимо и подлежит немедленному пресечению.

По Кольберу понятия «служба» и «государство» должны быть священными для чиновника. Основой его мироощущения является причастность к государству, которое воспринимается как носитель «общего блага», а народ — исключительно как носитель «частных интересов», будь то интересы отдельных лиц, корпораций или целых провинций. И, конечно, частные интересы могут быть принесены в жертву общему благу, особенно во время войны (1, t. 2, pt. 1, p. 290). Интендантов, проникающихся нуждами своих провинций, Кольбер сурово отчитывал, как, например, своего родича де Марля: «Я вижу у Вас большую склонность при всех случаях благоприятствовать провинции Оверни, что никак не согласуется с королевской службой» (4, t. 2, pt. 1, p. 108).

Действующий исключительно в интересах государства, чиновник не имеет права входить в положение частного лица. Кольбер не спускает интендантам попыток порадеть за народ перед начальством. Интенданту Экса Морану он рекомендует избегать преувеличенных выражений в письмах к начальству, ибо это — обычный стиль жалоб, не внушающий доверия (1, t. 4, p. 142). Интенданту Монтобана Федо де Бру Кольбер пишет: «Выражения, которые Вы употребляете, так сходны с теми, которыми пользуется для жалоб народ, что почти невозможно отделаться от мысли, что Вы позволили себе поверить его речам... Нет ничего более предосудительного для блага королевской службы» (1, t. 2, pt. 1, p. 274). Интендант должен давать совершенно беспристрастные, точные и конкретные сведения о состоянии его провинции. Кольбер обрывает все сетования, так как якобы невозможно поверить, что жители переобременены налогами, ибо король сократил сумму тальи. Обращаясь к интендантам, он пишет, что они слишком легко дали себя убедить в непосильности налогов, ибо ранее они были еще выше; вот стандартные ответы генерального контролера. И не следует «снисходить к придуманным бедам народа» (1, t. 2, pt. 1, p. 137, 146).

Но в докладах королю и черновых записях Кольбера совершенно иной тон. В том же 1680 г., к которому относится большинство цитированных писем, Кольбер отмечает в меморандуме о бюджете на 1681 г., что все донесения с мест говорят о нищете народа в результате войны с Голландией. И Кольбер — как это ни странно для него — почти трагически восклицает: «Если королю представится еще какая-нибудь славная возможность начать войну, жизнь подданных станет совершенно невыносимой» (4, t. 2, pt. 1, p. 141). Понятно, что ис-

полненные уверенности и оптимизма ответы интендантам — тоже элемент искусства администратора. Внушать подчиненным, что все благополучно, тем самым придавая им уверенность в правильности правительственной политики, говорить откровенно только на самом высоком уровне — вот черты административной практики Кольбера.

В разговорах о «придуманных бедах» слышен еще один мотив — недобросовестность подданных. Ч. У. Коул прекрасно показал глубокое недоверие Кольбера к купцам, стремящимся, по мнению министра, исключительно к мелким личным выгодам в ущерб собственным же долговременным и стабильным интересам, совпадающим с благом нации. За всем этим — убеждение чиновника, что только ему дано знать, в чем состоит общее благо и каковы пути его достижения, ибо он представляет носителя общественного начала — государство (5, v. 1, p. 332—336). Интенданту Лилля де Сузи Кольбер рекомендует никогда не доверяться жалобам купцов и предпринимателей на их бедственное состояние (4, t. 2, pt. 2, p. 514). Он рассказывает де Сузи о хитрой уловке, с помощью которой сам однажды убедился в необоснованности сетований купцов на упадок торговли, и рекомендует ему — так же как и интенданту Экса Менару (4, t. 4, p. 142) — перепроверять жалобы, собирая статистические данные о торговле, о числе заключаемых браков, о ценах на землю, дома и т. д., и по этим признакам судить об уровне деловой активности в провинции. Прежде чем провести реформу турского муниципалитета, которая кажется ему вполне разумной, Кольбер все же предлагает интенданту Ла Нуаре проверить жалобу торговцев шелком на некомпетентность эшевенов в шелководстве, служившую поводом к реформе (4, t. 2, pt. 2, p. 511). Интенданту Орлеана Безону Кольбер рекомендует не спешить с перераскладкой тальи, необходимой из-за побившего посевы града, ибо шумиха по поводу стихийных бедствий бывает обычно гораздо большей, чем реальный ущерб, и надо подождать, не оживут ли растения (4, t. 2, pt. 1, p. 192). Недоверчивость и подозрительность, привычку видеть в жалобщиках и просителях симулянтов и корыстолюбцев — эти черты развивал Кольбер в своих интендантах.

Заведомая убежденность в недобросовестности не ведающих своих интересов частных лиц связана с убеждением в необходимости постоянно «руководить» народом. У Кольбера нет никакого доверия ко всякому соучастию подданных в управлении. Если, например, марсельскому муниципалитету дать хоть немного самостоятельности, он все перевернет вверх дном (4, t. 2, pt. 2, p. 717). Народ, по Кольберу, сам повинен во всех своих бедах, в частности, подлинной причиной его нищеты является леность (4, t. 2, pt. 1, p. 146). Администратор должен опекать народ и превозмогать досадное упрямство, с которым тот встречает его инициативы (4, t. 2, pt. 2, p. 614—615).

Чиновник должен безразлично относиться к общественному мнению. Кольбер упрекает интенданта Орлеана Менара: «Некоторый вид публичного одобрения часто заводит Вас за те пределы, в которых Вы должны держаться» (4, t. 2, pt. 1, p. 120). Личная популярность может идти вразрез с интересами службы, и надо уметь жертвовать первой ради последней. Этот «шедевр» административной науки преподносится Кольбером Ла Нарбоньеру: министр обвиняет его в том, что он в качестве королевского чиновника демонстрирует перед народом понимание его нужд и дает надежду на снисходительность короля. Поступать же надо наоборот; «лица, обладающие необходимым рвением и предусмотрительностью, сами навлекают на себя недовольство частных лиц, чтобы оставить королю средства приобрести их благосклонность, даруя им милости, если он найдет это нужным» (4, t. 4, p. 22—23). Отметим, что сам Кольбер не был популярен даже в бюрократических кругах. Но, по его мнению, если чиновник не должен добиваться личной популярности, то забота об авторитете власти и в первую очередь короля — его долг. Характерно письмо интенданту Лиможа Лебре: полезно, «чтобы жители отдаленных провинций время от времени видели очевидные доказательства справедливости короля», даже если речь идет о делах, которые можно решить без обращения к королю (4, t. 2, pt. 1, p. 184). Стремление всячески поддерживать авторитет власти заметно в отношении Кольбера к допускающим злоупотребления чиновникам. Таковых следует жестоко и демонстративно карать, вселяя в подданных уверенность в справедливости короля (4, t. 2, pt. 2, p. 184), но делать это надо осторожно, не впадая в крайность. Так, привлекать откупщиков к ответственности можно лишь при наличии неопровержимых доказательств, ибо «та же причина, которая заставляет короля наказывать притеснения тех, кто причастен к сбору его доходов, заставляет его величество поддерживать их против обвинений, которые народ всегда готов возводить против них с большой легкостью» (4, t. 2, pt. 1, p. 162). Даже городских консулов, допустивших злоупотребления при снабжении войск, надо наказывать, «не делая слишком широких разоблачений», тем более, что этого хватит для обуздания остальных (4, t. 4, p. 25).

С заботой об авторитете власти связано и требование Кольбера поддерживать кастовую сплоченность чиновничества. Он упрекает Федо де Бру за то, что тот слишком доверчив к обвинениям против сборщиков налогов и не учитывает, что хорошо относиться к ним и не могут. Кольбер так сердит на сборщиков налогов, что не желает помочь им даже при необходимости (4, t. 2, pt. 1, p. 272). При общем недоверии к народу особенно недопустимо прислушиваться к жалобам на представителей власти, чтобы не поощрять недовольных.

Обязательное качество бюрократа — «идти неуклонно». Это

требование — результат возросшей силы абсолютной монархии, осознанной ее ревностными слугами. Кольбер постоянно убеждает интендантов не делать уступок в вопросах о пересмотре сумм налогов или откупов. Морана он учит держаться с откупщиками налогов в Марселе той же тактики, какой сам он держится с парижскими финансистами, — никогда не сокращать сумм откупов, а пытающихся отказаться от обязательств принуждать к выплате (4, t. 2, pt. 1, p. 156).

Особенно яркие примеры «неуклонности» у Кольбера — в борьбе с народными восстаниями. На донесение первого президента Реннского парламента д'Аргужа о беспорядках в связи с составлением списков внецеховых ремесел (что служило предлогом для обложения) Кольбер отвечает: «Было бы весьма опасно отступить из страха народных волнений, и Вы знаете, как чуждо это характеру и уму короля» (4, t. 2, pt. 1, p. 288, n. 2). В письме к интенданту Экса Руйе говорится, что страх перед восстанием никогда не должен быть причиной тех или иных действий (4, t. 2, pt. 1, p. 294). Примечательно письмо к интенданту Лиможа Ла Грандвилю, написанное в ответ на донесение последнего о волнениях в Ангулеме, когда интендант покинул город, мотивируя это надеждой успокоить народ. Нет ничего опаснее, по мнению Кольбера, как показывать народу колебания и неуверенность, тем более что трудно поверить, чтобы народ, привыкший к повиновению, нарушил свой долг. Здесь снова Кольбер лукавит: из других его писем видно, что он понимал опасность восстаний и считал, что мятежность присуща народу (4, t. 2, pt. 1, p. 362; t. 2, pt. 2, p. 443). Иногда, продолжает Кольбер, стоит даже идти на риск, демонстрируя отсутствие страха перед народом, чтобы тот воочию убедился в могуществе королевской власти и представил себе суровость возможной кары. Если Грандвиль будет уверен в том, что народ покорен власти и что власть эта велика, он поймет, что уже самое его присутствие способно внести успокоение в умы (4, t. 2, pt. 1, p. 360). В письме к Руйе Кольбер объясняет, что нельзя предлагать королю рассчитывать свои действия с учетом угрозы восстания, ибо Людовик слишком убежден в уважении и любви подданных, чтобы поверить, будто они отказываются платить налоги (4, t. 2, pt. 1, p. 294).

Твердость и бескомпромиссность, осуществление намеченной программы любой ценой — характерная черта психологии руководящих деятелей абсолютной монархии эпохи Людовика XIV. Но в советах Кольбера есть рациональный расчет: надо всеми способами внушать народу веру во всемогущество власти, ибо тогда легче добиваться повиновения. Твердая власть, навязчиво демонстрируя уверенность в своих силах, оказывается и на самом деле сильнее.

Небольшие размеры статьи вынудили нас привести лишь некоторые наиболее яркие поучения генерального контролера.

Строго говоря, перед нами здесь только взгляды самого Кольбера на искусство управлять. Но, думается, их анализ важен и для изучения административной практики. В первую очередь эти взгляды явились обобщением опыта самого Кольбера. Ссылки на конкретные факты своей деятельности, сопровождающие его рекомендации, подтверждают это. То, что мы знаем о характере Кольбера, заставляет полагать, что сам он тоже руководствовался собственным «кодексом бюрократа». Но стала ли эта практика общераспространенным явлением или осталась личным достоянием министра? Только специальное изучение социальной психологии интендантов по всему комплексу доступных источников в состоянии ответить на данный вопрос. Пока же мы ограничимся предположением, что многое из административных уроков Кольбера интенданты, вероятно, усвоили. Кольбер наставлял их, преследуя весьма практические цели, и нет оснований подозревать его в искажении собственных требований. Интенданты были лично заинтересованы в усвоении требований министра. К тому же его советы зачастую бывали очень полезны, и собственный административный опыт и социальное положение интендантов (аналогичные опыту и положению Кольбера) делали их, несомненно, восприимчивыми к наставлениям мэтра. Поэтому нам кажется допустимым предположение, что приведенный материал в некоторой мере характеризует реальный облик французского бюрократа эпохи Кольбера.

Другой вопрос, насколько новым было преподанное Кольбером искусство управлять. Правомерно ли говорить о возникновении нового типа администратора во Франции XVII в.? Здесь также необходимы дальнейшие исследования. Но априори можно высказать некоторые предположения. Казалось бы, незнание чиновником такого рода правил по крайней мере удивительно. Но средневековый человек кажется нам удивительным во многих отношениях, поэтому нет ничего невозможного в том, что те или иные правила, изложенные Кольбером, были новы, хотя многие, безусловно, были известны и раньше. Предшественники Кольбера — Ришелье, Мазарини и даже подлинный глава администрации королевства канцлер Сегье — не занимались «воспитанием» интендантов, да и вообще «старая бюрократия» XVI—XVII вв. носила специфический характер. Ее главным элементом были чиновники верховных судов, собственники своих должностей, получившие классическое образование и воображавшие себя первыми гражданами и представителями народа на манер римских магистратов. В их среде, не отождествлявшей своих интересов с интересами монархии, вряд ли могла зародиться психология бюрократа. Их собственный профессиональный опыт был опытом судьи, в то время как для интендантов судебные функции имели второстепенное значение. Все это должно было формировать несколько

ные навыки и стереотипы, в частности стремление к постоянной законосообразности действий. Поэтому можно предположить, что изображенный выше тип администратора-бюрократа во многих существенных чертах возник во Франции именно во второй половине XVII в.

Литература

1. Bourgeon J. L. Les Colbert avant Colbert. Paris, 1973.
2. Clement P. Histoire de Colbert et de son administration, t. 1—2. Paris, 1874.
3. Clement P. Lettres, instructions et mémoires de Colbert. 8 vol. Paris, 1861—1882.
4. Colbert J. B. Lettres, instructions et mémoires / Ed. P. Clément. Paris, 1861—1882, t. I—VII.
5. Cole Ch. W. Colbert and a century of French mercantilism. New York, 1939, vol. I—II.
6. Dessert D., Journet J. L. Le lobby Colbert. Un royaume ou une affaire de famille? — Annalis, Économies, Sociétés, Civilisations, 1975, p. 1303—1336.
7. King J. E. Science and rationalism in the government of Louis XIV (1661—1683). Baltimore, 1949.

С. Н. Коротков

БУРЖУА-МОНТАНЬЯР В РЕВОЛЮЦИИ: ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖОЗЕФА КАМБОНА

В годы Великой французской революции буржуазия выдвинула небольшую, но очень интересную группу государственных деятелей, которых можно определить как буржуа-монтаньяров. Они отличались от буржуазных интеллигентов и являлись, по определению Ж. Жореса, «чистыми» буржуа. Особенности этого типа можно охарактеризовать на примере Жозефа Камбона, эволюция взглядов которого в целом отражала эволюцию идеологии класса. «Финансист Конвента» Камбон хорошо представлял, по мнению А. Собуля, монтаньярскую, порой крупную буржуазию (7, с. 29).

Краткий биографический очерк о Камбоне был написан Е. В. Тарле в 1927 г. и недавно переиздан (8, с. 77—80), поэтому приведем лишь самые необходимые биографические сведения.

Ж. Камбон (1756—1820) родился в богатой буржуазной семье в Монпелье. Уже в 1785 г. он стал учредителем новой компании «Братья Камбон и К°», в которой и приобрел богатый опыт работы финансиста, впоследствии очень ему пригодившийся. Камбоны принимали активное участие и в политической жизни Лангедока и Монпелье. Они участвовали в со-

ставлении наказов Генеральным штатам, в которых выдвигались требования запрещения торговли иностранцев и учреждения протекционизма. Доля личного участия Камбонов в выработке этих положений не известна, но нельзя не учитывать того, что Камбон-отец считался «руководителем третьего сословия Монпелье» (9, p. 10—11).

После избрания в Генеральные штаты (14, t. 1, p. 24) Ж. Камбон приехал в Версаль и, хотя и не был признан полноправным депутатом, остался там, бросив все дела, чтобы «целиком окунуться в революцию». Камбон оказался в самой гуще политических событий, что, несомненно, способствовало дальнейшему формированию его политических взглядов. В начале революции среди французов сильны были монархические настроения, не чужды они были и Камбону. Так, 19 июня 1790 г. он в верноподданническом письме называет короля «отцом свободы». Но уже через год, после бегства Людовика XVI, Камбон как председатель якобинцев Монпелье пишет в Конституанту: «Сделайте Францию республикой, это вам не будет трудно» (12, p. 103). Позднее, в 1793 г. он не только проголосует за казнь короля, но и выступит против отсрочки исполнения приговора.

Вернувшись в январе 1790 г. в Монпелье, Ж. Камбон был сразу же избран в муниципалитет и вскоре создал Общество друзей равенства, аффилиированное с Якобинским клубом, из которого тогда еще не вышли умеренные. (Членом парижского клуба якобинцев Камбон никогда не был.) Политическая карьера Камбона была характерна для будущих монтаньяров. А. Тибодо, например, вернувшись в Пуату из Версаля, куда он провожал отца-депутата, также открыл патриотический клуб, который распространял среди сограждан «священный огонь свободы». Затем, как и Камбон, он становится заместителем прокурора и прокурором коммуны. В 1792 г. Тибодо избирается в Конвент от департамента Вьенн и занимает место среди монтаньяров, хотя и не отличается там особенной активностью (17, t. 1, p. 7—8).

В 1791 г. была принята Конституция и назначены выборы в высший законодательный орган — Легислативу. В связи с тем, что Камбон не был полноправным членом Конституанты, он был избран в сентябре 1791 г. в Легислативу и с 5 декабря фактически стал управлять финансами всей страны.

Находясь во главе комитета финансов Легислативы и Конвента более трех лет, Камбон был энергичен, боролся со злоупотреблениями, предлагал проекты финансовых и экономических реформ, особенно настойчиво добиваясь использования церковной собственности (Камбон был атеистом). Однако положение в стране становилось все более и более тяжелым. К старому государственному долгу добавлялся ежегодный дефицит бюджета. Начавшаяся вскоре война требовала огром-

ных расходов, между тем старые источники доходов были утрачены, а новые налоги собирались не полностью из-за несовершенства работы государственного аппарата.

Глава финансов попытался определить причины финансового кризиса. Кроме политических причин Камбон выделил три обстоятельства: неопределенность государственного долга; замедление поступлений из-за переустройства налоговой и административной системы; существование ассигната и падение его стоимости (9, p. 97—98). С присущими ему решительностью и изобретательностью Камбон начал борьбу с кризисом. В частности, он провел запись государственного долга, значительно его при этом сократив. Однако всех проблем решить не удалось: дефицит по-прежнему покрывался выпуском бумажных денег. Обеспечением ассигната служили так называемые национальные имущества: имущество короля, церкви и эмигрантов.

Еще 2 ноября 1789 г. по предложению Талейрана Конституанта приняла декрет, по которому все церковные имущества поступали в распоряжение нации. Камбон, уделяя большое внимание обеспечению ассигната, неоднократно писал о необходимости секуляризации, выражая удовлетворение ускорением работы Комитета национальных имуществ (13, p. 39—40, 42). 9 февраля 1792 г. он побудил Собрание декретировать, что имущество эмигрантов, «врагов родины и национального суверенитета» национализируется (15, t. II, p. 344). Это открыло серию карательных мер против эмигрантов.

При определении порядка продажи национальных имуществ возникли споры. Земельные имущества продавались с торгов крупными участками, т. е. дорого, и поэтому доставались, главным образом, богатым покупателям. Некоторые депутаты, считая, что главный вопрос революции — социальный, требовали дробления участков, но эти депутаты составляли меньшинство, и буржуа-монтаньяров среди них не было. Камбоны сами производили крупные покупки и призывали других следовать своему примеру. «Будем ли мы последними, господа, — обращался Камбон к членам Генерального совета Монпелье, — подражая этому патриотическому примеру? Будем ли мы последними в получении барышей от выгоды такой спекуляции?» (16, p. 313, 315). Как видим, «патриотизм» и выгоды от спекуляций в годы революции стояли для буржуазии рядом.

К середине 1793 г. большая часть церковных имуществ была продана, но продажа эмигрантских шла хуже — опасались возвращения старых хозяев. Камбон же призывал покупать эти земли: «Вы потеряете земли, говорите вы, если наступит контрреволюция, но тогда вы потеряете все. Берите мушкет, защищайте Республику и вы не будете бояться эмигрантов, вы станете собственниками в счастливом мире» (16, p. 320, 324).

Как уже говорилось, среди буржуазных политиков револю-

ции Ж. Жорес различал «чистых буржуа» и буржуазных интеллигентов. У последних, по Жоресу, были более возвышенные и бескорыстные идеалы, ибо они были идеологами, историческая задача которых — организация буржуазного строя, а не содействие своекорыстным интересам владельческой буржуазии. Ратуя за укрепление частной собственности, они во имя общих интересов революции и блага нового общества склонны были требовать от собственников больших жертв, обуздывать их алчность и проводить широкие социальные и политические реформы в интересах народа, ибо были носителями идей революционной демократии в целом, в которой еще не произошло разделения на социально враждебные классы (2, с. 15).

Последнее утверждение Жореса нам представляется неверным: социальное расслоение в годы революции было явным. Вместе с тем буржуазия шла на определенные жертвы ради революции. Так, Камбон выступил защитником принудительного займа на богатых в 1 млрд. ливров. Объясняя буржуа необходимость этой «жертвы», он говорил: «Ты богат... Я хочу уважать твою собственность, но я хочу вопреки тебе самому связать тебя с революцией, я хочу, чтобы ты ссудил свое состояние республике, и когда свобода будет установлена, республика вернет тебе твои капиталы» (10, t. 27, p. 150).

Камбон не был буржуазным интеллигентом или, как пишет о нем Ж. Мишле, «совсем не был философом, это человек дела, негоциант» (12, p. 103), его задача состояла в содействии «своекорыстным интересам буржуазии».

Как государственного деятеля Камбона занимали прежде всего экономические проблемы; к социально-политическим вопросам он обращался лишь по необходимости, стремясь при этом разрешить их «просто» и сугубо рационально. Так, озабоченный тяжелым положением финансов, он предлагал прекратить выплату жалования священникам, против чего выступили почти все наиболее видные деятели революции, справедливо указывая на возможные опасные последствия такого шага. Иногда «казначей» неожиданно оказывался левее большинства даже монтаньярского Конвента. 11 фримера II г. он предложил ввести принудительный обмен звонкой монеты на ассигнаты — меру, которой добивались санкюлоты (7, с. 109). Однако это предложение принято не было.

Хотя буржуазия охотно покупала национальные имущества, ассигнат падал: уже в 1793 г. он стоил меньше половины своей номинальной стоимости, а в середине 1794 — 30%. Что это — неудача финансиста Конвента? В литературе было широко распространено мнение о Камбоне как о довольно посредственном финансисте. Так считали А. Матьез, Р. Стурм, Ш. Гомель и др. Нет ничего более несправедливого, как отмечает один из немногих биографов Камбона Ф. Борнарель, «чем

мнение тех, кто его представляет финансистом, умение которого состояло в умножении выпуска ассигнатов» (9, p. 95). Действительно, как мы видели, Камбон понимал пагубность безудержной эмиссии, предлагал меры по спасению ассигната, предлагал даже принудительный обмен звонкой монеты на ассигнаты. Дело в том, что национальные имущества выкупались в рассрочку, при такой стремительной инфляции это означало фактическое снижение стоимости. Новые владельцы выплатили лишь 10% стоимости, причем за свои небольшие участки крестьяне расплачивались быстрее буржуа. Камбоны до конца использовали рассрочку и таким образом поправили свои финансовые дела. Камбон «энергично и целенаправленно проводил политику инфляции» (5, с. 224; 11, p. 30), которая способствовала обогащению буржуазии.

В период борьбы с роялистами и конституционалистами (как, впрочем, и в борьбе с Повстанческой Коммуной 10 августа) Камбон был с жирондистами, расходясь, правда, с ними по многим вопросам. Так, Камбон решительно выступал против федерализма (15, t. 14, p. 47). Что же касается области экономики, то здесь Камбон полностью расходился во взглядах с жирондистами — фритредерами и антиэтатистами. «Сторонник централизма и единства управления» (Ж. Жорес) Камбон поддерживал создание продовольственной комиссии, считая, что причина нехватки хлеба в том, что покупает его не государство, а отдельные муниципалитеты (10, т. 20, p. 175).

В борьбе Горы и Жиронды Камбон, желая лишь примирения, примыкал к Горе, защищая, например, чрезвычайный налог на богатых. Камбон был членом первого Комитета общественного спасения (КОС). Когда лидер жирондистов Бриссо обвинил КОС в хищениях, Камбон вынужден был защищаться и оказался в лагере противников жирондистов (12, p. 106; 16, p. 322).

Для защиты завоеваний революции буржуазии необходим был союз с народом. Камбон также был готов на некоторые временные уступки народу, отстаивая при этом, как мы видели, неприкосновенность частной собственности.

К «регулированию» права собственности и к «жертвам» призывали и другие буржуазные революционеры. Фабр, например, говорил: «Собственность, без сомнения, святое право, но общество может регулировать его выполнение; каждый должен в общих интересах <принести> небольшую жертву из своей собственности, чтобы спокойно пользоваться тем, что останется» (10, v. 20, p. 172). Ему вторил Дантон: «Чем крупнее будут жертвы, тем больше уверенности в том, что собственность будет сохранена и останется неприкосновенной» (1, с. 51).

После победы народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. в Париже и изгнания жирондистов Камбон остался во главе комитета финансов. Это говорит о том, что монтаньярами бы-

ли и крупные буржуа. Камбон был решительным защитником буржуазной революции и сразу же поддержал предложение о создании революционного правительства. Но его отношения с Парижской коммуной были враждебными. Камбону были чужды мелкобуржуазные эгалитаристские идеи якобинцев; что же касается взглядов эбертистов, то они вызывали у него лишь страх и ненависть. Камбон нападал на народные общества, «правонарушения которых, по его мнению, могли быть рассмотрены только в трибунале» (15, t. 11, p. 430). В появлении в восстании 10 августа зачатка власти «низов» вся буржуазия увидела угрозу. Камбон называл парижские власти не иначе как «узурпаторскими» и «диктаторскими» и требовал их примерно наказать (15, t. 14, p. 47; 2, с. 8, 12). Надо сказать, что деятельность казначейства не отвечала интересам санкюлотов и подвергалась суровой критике эбертистов.

Камбон был монтаньяром, но примыкал к их правому крылу, отражавшему интересы крупной и средней буржуазии. Правые монтаньяры, социальные убеждения которых были весьма консервативны, занимали ряд важнейших государственных должностей. Среди якобинцев было много деятелей левых взглядов, но они имели слабое влияние на правительство, в КОС господствующее положение занимала центристская группировка Робеспьера (4, с. 10—11, 152—158).

Внутри якобинского блока существовали определенные противоречия; их углубление, а также усиление разногласий между правительственными комитетами и внутри КОС способствовали созреванию политического кризиса, приведшего к перевороту 9 термидора. Первым, кто прямо выступил против Неподкупного, был Камбон, обвиненный Робеспьером в знаменитой речи 8 термидора в заговоре и контрреволюции (6, т. III, с. 225). Камбон с трибуны Конвента заявил: «Пора сказать всю правду: один человек парализовал волю всего Национального собрания; это человек, который только что произнес здесь речь, — это Робеспьер» (3, с. 586). Столкновения Камбона с Робеспьером были, безусловно, не только личного характера. Комитет финансов был наименее зависим от КОС, Камбон бдительно охранял его от вмешательства мелкобуржуазных эгалитаристов, какими были робеспьеристы.

А вечером 8 термидора на газете, которую он с некоторых пор каждый день посылал домой, чтобы дать знать, что еще жив, Камбон написал: «Завтра или я, или Робеспьер, один из двух будет мертв» (16, p. 327—328). Камбон не был заговорщиком, но «термидорианцем» был.

После термидорианского переворота Камбон, «честный буржуа» и сторонник «организованного» обогащения, оказался неудобен. После жерминальского восстания был издан приказ об его аресте, но Камбону удалось скрыться. После амнистии он поселился в своем имении, затем был наполеоновским пре-

фектом, последний раз он появился на политической сцене в период Ста дней. Как «цареубийца» Камбон был изгнан и умер в Бельгии в 1820 г.

Подведем некоторые итоги. Буржуа-монтаньяры были плоть от плоти буржуазии, они последовательно защищали ее интересы. В годы революции их взгляды не могли остаться неизменными, и мы видели, как их типичный представитель Камбон из монархиста превратился в республиканца, из жирондиста в монтаньяра. Эти люди были очень гибкими политиками, хорошо понимающими суть происходящего. Камбон явился одним из государственных деятелей того нового типа, появление которого связано с выдвижением буржуазии на первый план политической жизни.

Литература

1. Дантон Ж. Ж. Избр. речи. Госиздат Украины, 1924.
2. Жорес Ж. История Конвента. М.; Пг., 1920.
3. Революционное правительство во Франции в эпоху Конвента (1792—1794). Сб. материалов и документов. М., 1927.
4. Ревуненков В. Г. Парижская коммуна 1792—1794. Л., 1976.
5. Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1789—1792. Л., 1982.
6. Робеспьер М. Избр. произв. М., 1965, т. 1—3.
7. Собуль А. Первая республика 1792—1804. М., 1974.
8. Тарле Е. В. Создатель бумажных денег. — В кн.: Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981.
9. Bornarel F. Cambon et Révolution française. Paris, 1905.
10. Buchez Ph. et Roux P. Histoire parlementaire de la Révolution française. Paris, 1834—1838, t. 1—40.
11. Histoire économique et social de la France. Paris, 1976, t. 3, vol. 1.
12. Kuscinski A. Dictionnaire de conventionneles. Paris, 1919.
13. Léttres de Cambon et autres envoyés de la ville de Montpellier de 1789 à 1792. Montpellier, 1889.
14. Procès-verbal de l'Assemblée de communes et de l'Assemblée nationale. Paris, 1789.
15. Réimpression de l'ancien Moniteur. Paris, 1847—1850, t. 1—31.
16. Saumade G. Cambon et sa famille acquéreures de biens nationaux. — Annales d'histoire de la Révolution française, 1939, N 93—94.
17. Thibaudeau A. C. Mémoire sur la Convention et le Directoire. Paris, 1824, t. 1—2.

Б. А. Ширяев

АЛЕКСАНДР ГАМИЛЬТОН — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЕЯДЫ «ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ» США

Среди государственных деятелей эпохи войны за независимость и образования США, которых в американской литературе называют «отцы-основатели», видное место занимает Александр Гамильтон. Он принадлежал к числу ведущих политиче-

ских фигур в 80—90-е годы XVIII в., когда после окончания войны за независимость в США обострились противоречия по вопросам о форме государственного устройства, о характере правительства, о направлениях внутренней и внешней политики. Гамильтон сыграл важную роль в процессе формирования основ государственной и политической системы Соединенных Штатов, оказал большое влияние на политику правительства в первые годы независимости.

В американской историографии Гамильтона относят к числу самых сложных и противоречивых фигур среди «отцов-основателей». Действительно, многое в его взглядах и деятельности может показаться необычным, делающим его непохожим на других современников. Один из лидеров государства, только что освободившегося от английского господства, он преклонялся перед государственно-политической системой Англии. Гамильтон был глубоко недоволен конституцией 1787 г., считая ее слишком демократической. Все его симпатии находились на стороне конституционной монархии, которую он считал идеальной формой правления, однако реальная действительность заставляла его быть одним из руководителей буржуазной республики. Необычен и жизненный путь Гамильтона: бедный юноша-сирота сделал головокружительную карьеру, став самым влиятельным человеком в правительстве, доверенным лицом Вашингтона, лидером и идеологом крупной буржуазии. Столь же стремительным было его политическое падение, завершившееся гибелью на дуэли по политическим мотивам.

В консервативной историографии США утвердилась точка зрения, в соответствии с которой противоречивость во взглядах и деятельности Гамильтона объясняется тем, что он являлся государственным деятелем, намерения и идеи которого далеко опережали свое время. Известный историк К. Росситер, например, утверждает, что Гамильтон «был устремлен в будущее», что вся его деятельность направлялась на создание сильной, «динамичной» Америки, а эти намерения не могли быть поняты в аграрной, фермерской Америке конца XVIII в. (2, p. 33). Современным американским историкам трудно признавать, что один из крупнейших создателей «американской демократии» преклонялся перед монархической формой правления. Предпринимаются настойчивые попытки замаскировать, завуалировать откровенно монархические симпатии Гамильтона. Он якобы был монархистом не простым, тривиальным, а монархистом особого рода, не европейского толка. «Он не был монархистом по убеждению, из-за слепой веры в теорию, — пишет о Гамильтоне Дж. Миллер, один из виднейших исследователей его биографии — ...как эмпирик и прагматик, он отдавал предпочтение монархии, так как республиканизм казался ему более подходящим для общества ангелов, но не для человеческих существ» (3, p. 98). Крайности социально-политических

воззрений Гамильтона всячески сглаживаются, преподносятся как «неортодоксальные» для своего времени (4, p. 97).

В действительности Гамильтон был порождением своего времени, и его взгляды наиболее полно отражали противоречия эпохи, противоречия в положении американской буржуазии в конце XVIII в. Она выступала как лидер победоносной буржуазной революции, завершившейся образованием США — первой буржуазной республики. Американская буржуазия стремилась в полной мере воспользоваться плодами независимости, создать для себя самые благоприятные возможности деловой активности и обогащения, что неизбежно вело к укреплению системы капиталистических общественных отношений. Но, с другой стороны, она противилась любым попыткам социально-политических изменений и демократизации общества. Взгляды и идеи Гамильтона отражали реакцию тех кругов американской буржуазии, которые в условиях социально-политических изменений, вызванных войной за независимость, в обстановке обострения классовой борьбы открыто порвали с идеями Просвещения, сыгравшими огромную роль в американской революции XVIII в. Вопреки происшедшим в стране изменениям, вопреки новой обстановке и настроениям широких масс эти круги стали ориентироваться на сохранение консервативных устоев, на социально-политические нормы прошлого.

Если Вашингтона в американской историографии считают символом национального единства эпохи образования США, Джефферсона — родоначальником американской демократической традиции, то Гамильтон заслуживает титула «кумира денежных мешков». Он был последовательным защитником интересов крупной торгово-финансовой буржуазии — банкиров, ростовщиков, спекулянтов, коммерсантов. На всех этапах своей деятельности Гамильтон делал то, что отвечало нуждам этих кругов, открыто пренебрегая интересами других классов и социальных слоев.

В развернувшейся в 80—90-е годы борьбе вокруг государственного устройства, характера буржуазной республики, направлений развития страны Гамильтон занимал крайне правые позиции. Он, пожалуй, первым среди «отцов-основателей» решительно выступил против принципов равенства, народовластия и представительства, которые были не только основополагающими положениями политической философии Просвещения, но и лозунгами американской революции. Полемизируя с представителями демократического крыла американского Просвещения, Гамильтон откровенно заявлял, что народ порочен по своей природе, не может принимать правильные решения и подвержен воздействию безрассудных страстей. Поэтому управление государством должно быть доверено самым достойным, элите (под которой он понимал крупных собственников), причем власть должна находиться в руках этих дос-

тойных постоянно. «Каждое общество,—говорил Гамильтон,— разделено на два класса: на меньшинство и большинство. Первый класс — богатые и люди хорошего происхождения, второй — масса людей. Говорят, что голос народа — это глас божий, но на деле это не так. Народ беспокоен и изменчив, он редко решает и судит правильно. Дайте поэтому первому классу определенную, постоянную власть в правительстве, он будет сдерживать непостоянство другого класса... Ничто, кроме постоянного, несменяемого правительства не сможет сдерживать безрассудство демократии. Ее изменчивые и безудержные наклонности требуют контроля» (5; 4, p. 200).

Гамильтон считал, что республиканская форма правления не может отвечать интересам господствующего меньшинства, ибо в представительном правительстве «будут преобладать демагоги». Он не считал нужным скрывать своего восхищения монархической формой правления, утверждая, что монарх «выше коррупции, он всегда отстаивает подлинные интересы и славу своего народа. Республика же подвержена коррупции и внешним интригам» (5; 4, p. 186).

После окончания войны за независимость Гамильтон возглавил движение за создание сильной государственной власти, способной защитить интересы финансовой олигархии в обстановке усилившихся классовых антагонизмов. Он вынашивал идею учреждения режима военной диктатуры, создания государства по типу кромвелевского протектората. Подобные идеи были популярны в верхушке торгово-финансовой буржуазии, от имени которой активно выступал Гамильтон. На роль военного диктатора он прочил Вашингтона, главнокомандующего американской армией. Гамильтон обращался к нему с предложением использовать армию, в рядах которой авторитет главнокомандующего был велик, и взять власть в свои руки (5; 3, p. 254). Однако Вашингтон ответил на это предложение решительным отказом, так как он опасался, что подобные попытки могут привести к серьезным внутренним потрясениям.

Наиболее полно и откровенно помыслы финансовой олигархии по поводу государственного устройства Гамильтон изложил на конституционном конвенте, созванном в 1787 г. для разработки новой конституции. Делегаты конвента, представлявшие буржуазно-плантаторскую верхушку, были единодушны в стремлении ограничить политические права народа, его возможности оказывать влияние на управление государством. Однако даже в подобной атмосфере антидемократических настроений взгляды Гамильтона выделялись своей крайностью.

Гамильтон открыто восхищался британской монархией, которую он считал идеальной формой правления. «Я убежден, — говорил он в своем выступлении в конвенте, — что британская форма правительства — наилучшая модель, которую когда-либо создал мир» (5; 4, p. 200). Понимая невозможность

утверждения монархии в Америке, Гамильтон предложил проект олигархической республики во главе с президентом, избираемым пожизненно узким кругом привилегированных выборщиков, которому предоставлялись бы столь широкие права и полномочия, что президент по существу был бы выборным королем (5; 4, p. 208—209).

Хотя проекты Гамильтона были отвергнуты конвентом как явно неприемлемые, многие моменты его предложений нашли отражение в новой конституции. Это касалось в первую очередь характера исполнительной власти и полномочий президента. Новая конституция предоставляла президенту широкие полномочия: он сосредоточил в своих руках функции главы правительства и главы государства и имел такую власть, которой не обладал даже английский король — предмет преклонения Гамильтона и его единомышленников.

Несмотря на это, Гамильтон подверг резкой критике новую конституцию, считая, что конвент сделал слишком большие уступки народу и упустил «золотую возможность» создать «единую великую американскую державу». Однако он считал необходимым утвердить ее, так как провал конституции, по его убеждению, должен был привести к хаосу и анархии, к господству «демократии толпы». К тому же Гамильтон надеялся, что ему удастся в рамках этой конституции придать правительству черты и сформировать на практике направления деятельности, в наибольшей степени отвечающие интересам финансовой олигархии.

В правительстве первого президента Вашингтона Гамильтон, заняв пост министра финансов, сразу же стал играть роль первого министра, пользуясь безграничным доверием Вашингтона. Его финансовая и экономическая политика способствовала невиданному обогащению верхушки торгово-финансовой буржуазии, в результате чего авторитет и влияние Гамильтона среди денежных тузов стали безграничными. Опираясь на поддержку могущественных деловых кругов, Гамильтон более десяти лет фактически направлял внутреннюю и внешнюю политику правительства, руководил делами конгресса, был единоличным лидером созданной им партии федералистов.

Являясь по существу первым лицом в правительстве и обладая огромным влиянием в государственных делах, Гамильтон стремился создать сильную исполнительную власть с неограниченными полномочиями, т. е. сделать ее главным звеном государственной системы. В этот период наиболее четко проявилось его стремление учредить тоталитарную форму правления, так как Гамильтон и его ближайшее окружение все еще надеялись на изменение сложившейся в ходе борьбы американского народа республиканской системы. В 1792 г., когда уже реально существовала несколько лет закрепленная в конституции республиканская форма правления, Гамильтон писал:

«Успех республиканизма — это еще проблема. Должно быть подтверждено на практике, соответствует ли он той стабильности и твердости правительства, которые необходимы для общественной и личной безопасности» (5, 2, p. 444).

В разгар острой политической борьбы, развернувшейся между сторонниками курса Гамильтона и его противниками, Гамильтон выдвинул далеко идущие планы перестройки государственной системы, которые предусматривали ликвидацию автономии штатов, системы самоуправления, создание сильной исполнительной власти с неограниченными полномочиями, глава которой был бы наделен правом принимать законы «для предотвращения подстрекательских действий, для подавления незаконных выступлений и мятежей» (4, p. 599—604). Он стремился также создать постоянную армию и вынашивал планы широкой экспансии в западном полушарии.

Политика Гамильтона встретила противодействие в различных слоях американского общества. Политические силы, на которые он опирался, не могли понять исторических изменений, происшедших в США в последней четверти XVIII в. под воздействием революционной войны за независимость. Гамильтон слишком открыто выступил против демократических завоеваний американской революции, слишком откровенно стремился принести в жертву финансовой олигархии интересы других классов, в том числе и плантаторов, что привело к образованию широкой оппозиции и к его падению. Карьера Гамильтона закончилась поражением, однако его взгляды и идеи во многом определили консервативную политическую традицию в США. Консервативные силы на всех этапах истории США поддерживали и развивали линию Гамильтона, «ориентированную на социальный элитаризм крупных собственников, постоянно тяготевшую к тоталитаризму и отражавшую страх американской буржуазии перед народом» (1, с. 109).

Литература

1. Покровский Н. Свобода и насилие — злободневные ассоциации. — Коммунист 1981, № 13.
2. Rossiter C. Hamilton and the constitution. New York, 1964.
3. Builders of American institutions / Ed. by F. Friedel and N. Pollack. Chicago, 1968.
4. McDonald F. Alexander Hamilton. New York, 1979.
5. The papers of Alexander Hamilton / Ed. by H. Syrett, 25 vls. New York, 1961—1977.

М. С. Стецкевич

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАСЛРИ

Политическая структура британского общества первой трети XIX в. отличалась известным своеобразием. После завершения промышленного переворота Британия превратилась в ведущую

капиталистическую державу мира, однако британская буржуазия, и в особенности промышленная, по причине сохранения пресловутой системы «гнилых» местечек практически не имела представительства в парламенте. В обеих палатах преобладали представители земельной аристократии и их ставленники. Двери кабинета министров также еще были закрыты для буржуазии. Сложилась парадоксальная ситуация: сама буржуазия не имела возможности отстаивать свои интересы на государственном уровне, а политики-аристократы не могли не считаться с ее растущими запросами — в первую очередь во внешнеполитической сфере. Именно во внешней политике дуализм британской политической структуры проявился особенно ярко.

Мы не будем заниматься детальным разбором конкретных случаев проявления дуализма. Поставим перед собой иную задачу: выявить моменты его преломления в области идей внешней политики министра иностранных дел Великобритании виконта Каслри, занимавшего этот пост с 1812 по 1822 г. Рассмотрение проблемы именно в данном ракурсе необходимо было в силу того, что личностный фактор оказывал значительное влияние на английскую внешнюю политику. Его усилению благоприятствовала политическая ситуация на Британских островах в 1816—1819 гг., когда страна оказалась охваченной массовым демократическим движением. Министры, которых Каслри и ранее не слишком посвящал в тонкости своей дипломатии, теперь попросту не имели сил, времени да и желания вмешиваться в далекие от их непосредственных обязанностей вопросы внешней политики. Голос Каслри (он совмещал пост министра иностранных дел с постом лидера палаты общин) на заседаниях кабинета звучал веско и безапелляционно. Скрытный по характеру, Каслри не любил давать отчет в своих действиях, даже когда того требовали обстоятельства. «Холодный, уравновешенный, равнодушный... утонченно вежливый и почтительный. Он подобен сверкающей великолепной вершине, которой мы, подобно путешественникам в Альпах, любуемся, но которой вряд ли кто хочет или надеется когда-нибудь достигнуть» (10, v. 5, p. 245) — так характеризовал Каслри один из его современников.

Министры не видели значительной части многочисленных секретных депеш, чуть ли не ежедневно выходивших из-под пера министра иностранных дел или направленных на его имя. Инструкции Каслри английским послам в европейских государствах имели ультимативный характер и не оставляли лазеек для проявления последними сколько-нибудь реальной самостоятельности в действиях.

Итак, очевидно, что при данных обстоятельствах способы разрешения внешнеполитических проблем в большой степени зависели от политических воззрений министра иностранных дел. Безусловно, необходимо очень осторожно трактовать эту зависимость и избегать упрощений. Не следует увлекаться и вслед

за Ч. Вебстером объявлять всю британскую иностранную политику 1812—1822 гг. политикой чуть ли не одного Каслри (см. 9).

Каково было внешнеполитическое кредо Каслри? С тех пор как он всерьез начал интересоваться вопросами международного положения Великобритании, а произошло это в первые годы XIX столетия (Каслри занимал тогда пост президента Контрольной палаты), его не покидала мысль о необходимости тесных связей с континентальной Европой. В период шаткого Амьенского мира с Наполеоном Каслри изложил свои взгляды в представленном правительству пространном меморандуме (4, v. V, p. 29—38). В случае возникновения новой войны Англия должна была, по его мнению, не ограничиваться военными действиями на море и колониальной войной. Только действия Британии в составе коалиции европейских держав, считал он, могли привести к реальному успеху. Находясь в 1806—1809 гг. на посту военного министра, Каслри проявил себя как горячий сторонник активных действий английских войск на континенте. На завершающем этапе наполеоновских войн Каслри пытался претворить в жизнь мысль о необходимости закрепления послевоенного status-quo. Правда, в этом Каслри не был оригинален — такие же идеи высказывал еще в 1805 г. тогдашний британский премьер У. Питт-младший (см. 3., p. 393).

Первым шагом было подписание в 1814 г. Шомонского трактата, сплотившего в борьбе с Францией Австрию, Россию и Пруссию. Осенью 1815 г., когда союзники стремились определить образ действий в отношении поверженного врага, было решено заключить Четверной союз, в основе которого лежал Шомонский трактат. Каслри приложил все усилия к тому, чтобы придать этому союзу европейскую окраску, т. е. вывести его за узкие рамки обязательств в отношении Франции. Шестая статья договора, принятая в английской редакции, предусматривала время от времени происходящие совещания монархов и их министров для обсуждения вопросов, «кои во времена каждого из сих собраний будут сочтены самыми полезными для спокойствия и благоденствия народов и охранения мира всей Европы» (1, p. 614). Четверной союз, а в особенности статья 6, представляются нам конечным воплощением идеи Каслри о тесных контактах Британии с континентальными державами.

Добившись поставленной цели, Каслри, казалось, мог спокойно смотреть в будущее. Однако его дипломатия имела под собой весьма зыбкие основания: Каслри рассчитывал на свое умение влиять на русского царя и его министров, на личные связи с Меттернихом.

Британские историки Ч. Вебстер и Х. Никольсон справедливо подчеркивают, что Каслри стремился навязать статические принципы динамически развивающемуся миру (9, p. 442; 7, p. 258). Действительно, политика Каслри могла быть успешной лишь при совпадении политических интересов Британии и Авст-

рии, при поддержке австрийского министра иностранных дел К. Меттерниха. В противном случае все дипломатическое здание Каслри рассыпалось как карточный домик. В 1821 г., когда позиции Англии и Австрии по вопросу об интервенции в Неаполь разошлись, так и случилось. В целом недостаточно удачной оказалась и реализация этой идеи. Сложилась парадоксальная ситуация: ловкий тактик, несомненно искусный дипломат, умевший с микроскопической точностью определять долю заинтересованности Британии при решении той или иной проблемы, казалось, одерживал одну дипломатическую победу за другой (в особенности в 1816—1818 гг.), в итоге же получилось движение по замкнутому кругу — перед смертью Каслри Британия вновь, несмотря на все его усилия, оказалась в стороне от континентальных держав. Так проявилась очевидная истина: один человек не может вертеть руль внешней политики, основывая ее на положениях во многом умозрительных, без постоянного учета интересов экономического развития страны.

Каковы же обстоятельства, обусловившие неудачу политики Каслри? Определяя позицию Англии в той или иной международной ситуации, Каслри был, конечно, вынужден считаться с запросами британской буржуазии и торговых кругов, но, как правило, для него едва ли не главным оказывалось соотношение ее интересов с охранительными принципами статьи 6. Если требования буржуазии им не противоречили или не имели к этим принципам непосредственного отношения, Каслри был готов пойти ей навстречу. Например, в 1814 г. он добился сохранения власти Англии над южноамериканскими сеттльментами Демерера, Эссекибо и Бербис, находившимися ранее во владении Голландии, а затем захваченными Британией в период наполеоновских войн. Ливерпульские купцы несомненно остались довольны: Каслри выполнил их просьбу, и капиталы, вложенные в освоение этих территорий, не пропали (8, p. 199).

Британская торговая буржуазия упорно домогалась и признания независимости испанских колоний в Новом Свете, но Каслри не решился пойти дальше нескольких не очень твердых и последовательных шагов в данном направлении. Даже премьер-министр Ливерпуль в 1818 г. высказался в пользу признания колоний, однако Каслри удалось убедить своего шефа взять предложение обратно. Причины своего сопротивления Каслри высказал довольно откровенно: признание может вызвать дополнительные подозрения в адрес Англии со стороны стран-союзниц (4, v. XII, p. 90—91). Каслри старался играть наверняка и заморозить решение вопроса, действуя в зависимости от обстоятельств, но такая медлительность наносила несомненный ущерб британской торговле. Впрочем, Каслри одновременно делал все возможное, чтобы не допустить активного обсуждения вопроса об отношении к событиям в Испанской Америке на конференциях Четверного союза. Такие действия Каслри находились

в фактическом противоречии со столь активно прокламируемым им принципом «союзной солидарности». Значит ли это, что Каслри трактовал приверженность Англии Четверному союзу сугубо прагматически, *всегда* ставя во главу угла британские интересы? Несомненно, устремления Каслри были именно такими, на деле же часто получалось обратное: идея Четверного союза в его сознании постепенно превращалась в догму и оказывала влияние практически на все направления британской иностранной политики. Ради сохранения единства с союзниками осенью 1815 г. Каслри был готов согласиться на участие Британии в Священном союзе, аргументируя свое намерение тем, что якобы отсутствие подписи принца-регента Георга под актом будет иметь неприятные последствия, поскольку тогда доброе согласие между принцем-регентом и его союзниками-монархами может быть нарушено (3, p. 384). В данном случае Ливерпуль не прислушался к Каслри, и Англия к Священному союзу не примкнула.

Внешнеполитическая концепция Каслри резко контрастировала с традиционным британским изоляционизмом, и в этом плане министр проявил себя новатором. Когда же дело доходило до воплощения этих идей в жизнь, то подход Каслри оказывался вполне традиционным — в духе дипломатии XVIII в. Известный британский политический деятель конца XIX — начала XX в. маркиз Солсбери, в молодости сотрудничавший в журнале «Quaterly Review», верно подметил, что если бы Каслри удалось произнести несколько громких речей в палате общин с целью придания популярности своим идеям, то, возможно, оценка его деятельности не была бы столь плачевной. Привлечение на свою сторону парламента, прессы, произнесение трескучих и высокопарных речей в палате общин — всеми этими приемами блестяще пользовался преемник Каслри на посту министра иностранных дел Дж. Каннинг. Каслри же подобный подход к решению внешнеполитических проблем представлялся неприемлемым. Он не отдавал себе отчета в том, что времена чисто «кабинетной» дипломатии отходят в прошлое. В парламенте он не любил выступать, говорил нудно и монотонно, хотя его речи, по словам Ч. Гревиля, и отличались здравым смыслом (5, p. 53).

Британская пресса часто критиковала Каслри, и он предложил Ливерпулю самый простой с его точки зрения метод — подкуп издателей (7, p. 259). Виги, весьма резко выражавшиеся в адрес Каслри, считали привязанность последнего к системе конгрессов следствием постоянного появления его головы в сонме голов венценосных (6, p. 168). В таком утверждении есть доля истины. По мнению руководителя Форин Оффис, большая политика «делалась» не в парламенте и не в кабинете министров, а на европейских конгрессах. В перерывах между ними Каслри предпочитал шумному Лондону загородное поместье

Норд Крей, где и вел беседы с глазу на глаз с послами европейских держав.

В широких кругах общественности Британии Каслри был крайне непопулярен. Дж. Г. Байрон называл его «интеллектуальным евнухом»; гневно обличал Каслри и П. Б. Шелли:

И вот гляжу, в лучах зари
Лицом совсем как Кэстльри
Убийство, с ликом роковым
И семь ищеек вслед за ним.

И дело не только в том, что английскую демократическую общественность и либеральную прессу раздражали действия Каслри. Его непопулярность в значительной мере обусловливалась тем обстоятельством, что он не мог, да и не хотел выступать в ореоле демократичного политика — «друга свободы». С этой точки зрения больше преуспел Каннинг.

В последнее время в советской историографии утвердилось обоснованное мнение о преемственности курсов Каслри и Каннинга (см., напр. 2). Различия в их политике (если брать личностный аспект) — это в первую очередь различия в методах. В итоге и реакция общественного мнения на действия Каннинга была иной — его буквально превозносили до небес.

Несоответствие дипломатических приемов Каслри духу времени, необходимость облагораживания консервативно-охранительных принципов его политики отчетливо осознавались многими членами кабинета, чьи убеждения были далеко не либеральными. Иногда кабинет словно встряхивался от спячки и предпринимал попытки наставить Каслри на иной путь. Осенью 1818 г., когда лидер Форин Оффис находился в Ахене на очередном конгрессе Четверного союза, министры волей-неволей были вынуждены обратить внимание на вопросы внешней политики. Они дали ясно понять Каслри, что при нынешних обстоятельствах его детище — статья 6 — не была бы одобрена кабинетом (4, v. XII, с. 56). Члены кабинета призывали Каслри все же помнить о парламенте и общественном мнении, но больше всего опасались каких-либо формулировок в заключительных актах конференции, которые могли бы подорвать и без того невысокий престиж правительства Ливерпуля. И Каслри, несмотря на всю свою авторитетность, был вынужден учесть хотя бы некоторые пожелания кабинета.

Подводя итоги, отметим, что в сложной и противоречивой фигуре виконта Каслри, в его внешнеполитических идеях и действиях как бы сфокусировались противоречия между целью и результатом, между традиционной дипломатией и дипломатией с применением новых методов, между аристократией и буржуазией в Англии, между кабинетом и отдельным министром — противоречия, характерные для эпохи выхода буржуазии на широкую историческую арену.

Литература

1. Внешняя политика России XIX и начала XX века. М., 1972, т. 8.
2. Виноградов В. Н. Лорд Каслри и Балканы. — Советское славяноведение, 1979, № 1.
3. British diplomacy 1813—1815. Selected documents dealing with the reconstruction of Europe / Ed. by C. K. Webster. London, 1921.
4. Correspondence, despatches and other papers of Viscount Castlereagh, second marquess of Londonderry / Ed. by his brother Charles William Vane, marquess of Londonderry. 1—12 vol. London, 1848—1853.
5. Greville C. C. The Greville memoirs. London, 1874, vol. 1.
6. Bartlett C. Castlereagh. London, 1966.
7. Nicolson H. The Congress of Vienna. A study in allied unity. New York, 1967.
8. Robson W. H. New light on Lord Castlereagh's diplomacy. — The Journal of Modern History, 1931, vol. 3, N 2.
9. Webster C. K. The foreign policy of Castlereagh (1815—1822). London, 1925.
10. Who's who in history. 1—5 vols. Oxford, 1974.

Е. М. Прошина

БЛАНКИ — ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ И РЕВОЛЮЦИОНЕР

О великом революционере XIX в. Луи Огюсте Бланки написано немало. Существует несколько традиций изображения Бланки в немарксистской литературе XIX—XX вв. Для одних авторов Бланки — олицетворение революционного терроризма, мрачный и кровожадный заговорщик, революционный фанатик, одержимый идеей переворота; другие видят в нем интересного поэта, незаурядного ученого и глубокого мыслителя; третьи считают его прежде всего дальновидным и проницательным политическим деятелем, «лучшим выразителем политики своего века», объявляя причиной его заговорщической тактики «злобу его врагов и сектантскую исключительность друзей» (4, с. 4). С оживлением левацких элементов в международном революционном движении в конце XIX — первой четверти XX в. связана тенденция произвольного отождествления марксизма с бланкизмом, сознательного преувеличения роли Бланки в создании революционной теории (5; 3).

Во многих работах советских и зарубежных, в частности французских, исследователей XX в. предпринимаются попытки «покончить с легендой» о Бланки как об «исключительно человеке дела», проанализировать его философско-историческую концепцию, доказать существование у него вполне оригинальной и стройной революционной теории (3; 4).

Но вправе ли мы говорить о теории Бланки?

Историк бланкистского движения, член бланкистской партии Шарль да Коста отсутствие у бланкистов теории возводил в ранг

добродетели: «Нас не связывали ни формулы, ни формуляры... Мы действовали сообразно обстоятельствам» (8, 6).

С. Молинье, автор ряда исследований о Бланки, приводит слова Клемансо: «Бланки не был теоретиком, он остался в стороне от систематизированных теорий. Напротив, он обладал в самой высокой степени качествами человека действия — смелостью, искренностью, героизмом. Это внушало симпатию» (9, p. 69).

Известно признание 74-летнего Бланки, сделанное им в тюрьме Клерво английскому журналисту. «У меня нет теории,— говорит Бланки. — Я — человек действия. То, что существует,— плохо. Надо его заменить чем-нибудь другим... Программы я не имею» (10). Это признание Бланки 1879 г. почти дословно совпадает с основными положениями характеристики, данной французскому революционеру Ф. Энгельсом в 1874 г. Статья «Эмигрантская литература» посвящена критическому анализу программы бланкистских эмигрантов Коммуны. Подчеркивая, что Бланки был по преимуществу политическим революционером, «человеком дела», что у него не было ни социалистической теории, ни определенной программы социального переустройства, а, главное, отмечая бланкистское представление о революции как о перевороте, «произведенном небольшим революционным меньшинством», Энгельс делает вывод: «Бланки — революционер прошлого поколения» (1, т. 18, с. 512). Однако не следует видеть здесь недооценки значения революционной деятельности Бланки. Формула «революционер прошлого поколения» — не приговор, вынесенный Бланки, а четкое определение его исторической роли в революционном движении. Эта оценка по существу совпадает с восторженной характеристикой, данной А. Герценом: «Бланки — революционер нашего поколения». Но для Энгельса в 70-е годы взгляды Бланки — пройденный этап, нечто, уже принадлежащее истории социальной мысли и практики. Характерно, что в статье Энгельс весьма сочувственно говорит о заговорщической деятельности Бланки в 30-е годы XIX в. (при всей своей лаконичности характеристика, данная Бланки, раскрывает преданность французского революционера делу освобождения народа, делу революции), отмечает «революционный инстинкт» Бланки, его «быструю решительность», «участие к страданиям народа» (см. 1, т. 18, с. 511—512). Критический пафос статьи направлен не против Бланки, а против бланкистов, «вбивших себе в голову, что они должны быть „людьми дела" в такое время, когда делать-то в их смысле, в смысле революционного восстания, решительно нечего» (1, т. 18, с. 513).

Следует учесть всю совокупность обстоятельств, прежде чем делать далеко идущие выводы из приведенного выше признания Бланки. В долгой и трудной жизни французского революционера заключение в Клерво (1872—1879) было, пожалуй, самым тя-

желым. Старость, болезнь, а главное, полное одиночество — ни друзей, ни газет, ни книг. Его стерегут как опаснейшего преступника, и только по намекам в редких письмах с воли Бланки узнает, что имя его не забыто, что во многих департаментах Франции идет борьба за его освобождение. Мартовская амнистия 1879 г. не коснулась Бланки. И в эти трудные для него дни слова «Я — человек действия» — выражение его жизненного кредо. Не следует толковать их упрощенно, в том смысле, что по выходе из тюрьмы он снова, очертя голову, «ринется в заговоры». У Бланки, брошенного в тюрьму за день до провозглашения Парижской коммуны, не было и не могло быть определенной программы действий: слишком плохо знал он о происходящем. К тому же Бланки, несмотря на свой революционный темперамент, всегда отличался большой осторожностью и осмотрительностью, хотя обстоятельства редко позволяли ему проявить эти качества. Вечная жажда деятельности и борьбы еще более обострялась вынужденной бездеятельностью в тюрьмах.

Признание Бланки носит в значительной степени полемический характер. Утверждая, что у него нет теории, он выражает свое давнее неприязненное чувство к различного рода социалистическим утопическим учениям. Известна долголетняя и упорная борьба Бланки против влияния реформистских идей Прудона и Луи Блана. Резкую критику вызывали у него мирные планы социального переустройства, проповедуемые Сен-Симоном, Фурье и их учениками. Он был принципиально против социальных конструкций будущего, считая, что они только отвлекают массы от практической деятельности, от непосредственной политической борьбы. С особой иронией писал Бланки о попытках утопистов «изобразить будущий строй в мельчайших подробностях... представить завершенное здание от подвала до чердака, не упустив ни гвоздика, ни винтика» (2, с. 215).

Отрицательным отношением к «миролюбию» утопистов, к мелочной детализации и схематизации будущего в их сочинениях Бланки близок к позиции Маркса и Энгельса. Заметим, что в одном из наиболее зрелых в теоретическом отношении сочинений 50-х годов, «Письме Майару», Бланки весьма сочувственно говорит о руководителях социальных школ, которые «в конечном счете являются первыми революционерами, первыми пропагандистами могучих идей» (2, с. 161). Мы не знаем, был ли знаком Бланки с «Манифестом Коммунистической партии», но совпадение оценок роли великих утопистов у Бланки и авторов «Манифеста» примечательно.

Известна плехановская характеристика Бланки как «самого видного представителя» революционного утопического коммунизма XIX в. (7, т. 3, с. 564). Течение это, представлявшее собой, по словам Плеханова, «лишь маленькую струйку в широком потоке французской социалистической мысли», было «на-

сквозь пропитано революционным духом», не отрицало политики, было чуждо религиозных исканий. Одни утописты (социалисты) сосредоточивали свое внимание на «социальной теории», другие (коммунисты) — на политическом действии, но и те и другие «одинаково грешили односторонностью» (7, т. 3, с. 564—566).

Какое же место в политической концепции Бланки занимала социальная проблематика? Была ли она принципиально чужда ему? «Социализм — это революция», — утверждает Бланки в 1852 г. и относит свое учение к «практическому социализму», противопоставляя его теориям «миролюбивых социалистов», «революционеров только по идеям» (2, с. 175). «Практический социализм» исповедует партия «социалистов-революционеров», название которой Бланки объясняет следующим образом: «...нельзя быть революционером, не будучи социалистом, и наоборот» (2, с. 175).

Обращаясь к началу революционной деятельности Бланки, отметим, что все тайные общества 30—40-х годов, активным членом или организатором которых он был, отличались от своих многочисленных собратьев не только последовательно революционной позицией, но и значительно бóльшим вниманием к социальным вопросам. Прежде всего это относится к «Обществу времен года», которое Маркс назвал «исключительно пролетарским» (1, т. 7, с. 285).

В 50-е годы Бланки оценивает значение тех или иных теорий с точки зрения постановки в них социальных проблем. Он высказывает мысли, кощунственные для «чистого» революционера-республиканца: «Бороться за хлеб, т. е. за жизнь своих детей, еще более священная цель, чем бороться за свободу» (2, с. 174). На основании опыта 1848 г. Бланки утверждает, что даже идея революции, не наполненная социальным содержанием, уже не поднимет на борьбу ни рабочие, ни крестьянские массы (2, с. 172). Бланки убежден, что народы действуют только во имя своих интересов (2, с. 174). «Мадзини яростно поносит материализм социалистических учений, превозносящих материальные запросы, — пишет Бланки. — Но что же такое революция, если не улучшение судьбы масс» (2, с. 173—174).

В дальнейшем в сочинениях 60—70 годов Бланки принципиально отказывается от теоретической разработки социальных проблем. Резко критикуя фурьеризм, сенсимонизм, прудонизм, «мирный» коммунизм, позитивизм, Бланки противопоставляет авторам этих учений, «высокомерным теоретикам», истинных социалистов, революционеров (2, с. 254—259). В полном соответствии со своей идеалистической концепцией развития общества, согласно которой просвещение является двигателем прогресса, Бланки считает, что невежество, господствующее во Франции, исключает возможность разрешения в настоящем социальной проблемы (2, с. 234). Называя все рассуждения о формах будущего общества «чистейшей схоластикой», Бланки отстаивает

мысль о необходимости политического переустройства, «признанного единственно способным провести социальную реформу» (2, с. 276). Связывая утопический характер систем сенсимонистов, фурьеристов, «мирных» коммунистов с отказом от революционных действий, от участия в политике, Бланки в свойственной ему резкой и бескомпромиссной манере писал: «Коммунисты всегда составляют самый отважный авангард демократии, тогда как утописты, сторонники гипотез, соперничают друг с другом в пошлости, унижаясь перед всеми реакционными правительствами...» (2, с. 222—223). В 70-е годы Бланки особенно подчеркивал: «Коммунизм — олицетворяющий Революцию, должен избегать замашек утопии и никогда не удаляться от политики» (2, с. 224).

Идея примата политики над экономикой, высказанная впервые в 30-е годы, и в последние годы жизни Бланки остается одной из важнейших в его политической программе. Выступая на митинге перед народными клубами г. Безье в конце 1879 г., Бланки говорил: «Социальный вопрос может быть решен лишь посредством радикального разрешения вопроса политического» (4, с. 307).

Несомненно, в бланкистской политической концепции проблема подготовки и проведения вооруженного восстания, революционного переворота занимает центральное место. Однако неверно было бы сводить революционное учение Бланки к теории восстания, а тем более к идее заговора. Можно, хотя и с оговорками, учитывая эволюцию взглядов Бланки, говорить о бланкистской теории революции, существенными элементами которой явились положения о классовой борьбе, переходном периоде, революционной диктатуре, роли революционной пропаганды, месте интеллигенции и крестьянства в грядущей революции, значении социальных вопросов.

Заговорщический аспект наиболее характерен для тактики Бланки. Но традиционные рамки заговоров подчас оказывались слишком узкими для него, и он ломал их. Так случилось в февральские дни 1848 г., когда революционные события выдвинули узника Турской тюрьмы, осужденного на пожизненное заключение, в первые ряды европейских политических деятелей. Возвращенный революцией в Париж, Бланки встает во главе созданного им «Республиканского Центрального общества». Многочисленные речи и статьи февраля — марта 1848 г. — свидетельство его тонкого политического чутья, революционного инстинкта, умения правильно понимать и оценивать ситуацию. В речи 25 февраля Бланки предостерегает 500 революционно настроенных граждан от неподготовленных действий против временного правительства. Уже из этой речи явствует, что Бланки с первых дней революции не сомневался в антинародном характере нового «республиканского» правительства, отчетливо сознавал шаткость и слабость его положения, видел революционный энтузиазм па-

рижан. И тем не менее он решительно настаивал на отказе от выступления с целью свержения правительства. Бланки объясняет свою позицию тем, что «Франция еще не созрела для социалистического переворота», совершившаяся революция — не более чем «счастливая случайность» (2, с. 127), силы еще недостаточно организованы, а для продолжения революции «нужны широкие народные массы, предместья, пылающие в огне восстания» (2, с. 128). Бланки выступает против захвата власти «внезапным нападением» (2, с. 127); он предлагает единственно правильную тактику: предоставив правительство его собственному бессилию, в течение нескольких дней организовать по-революционному народ в клубах, подготовить к революции широкие массы в провинции (2, с. 127—128). В начале марта Бланки выдвигает программу, в которой наряду с требованиями, характерными еще для буржуазно-демократического этапа движения, содержится требование немедленного вооружения рабочих и организации национальной гвардии, свидетельствующее о том, что Бланки выступал за продолжение революции, ее углубление и постановку новых задач. Именно это имел в виду Маркс, когда писал о «революционном социализме», «коммунизме» Бланки, основными положениями которого являются «*объявление непрерывной революции, классовая диктатура* пролетариата» (1, т. 7, с. 91). В 50-е годы основоположники марксизма были уверены, что в случае победы революционного пролетариата во Франции именно Бланки как вождь пролетарской партии должен встать во главе правительства (см. 1, т. 7, с. 328; т. 8, с. 126; т. 28, с. 8). И в 70-е годы классики марксизма по-прежнему верят в революционные возможности Бланки и скептически относятся к сообщению Мозеса Гесса о вытеснении Бланки Флурансом и другими новыми силами с политической сцены (см. 1, т. 32, с. 372).

В период франко-прусской войны Бланки вновь оказывается на гребне политических событий. Несмотря на ошибочность позиции, занятой им в сентябре 1870 г., заключавшейся в призыве к республиканцам-революционерам сотрудничать с правительством, материалы 89 номеров его газеты «Отечество в опасности» свидетельствуют о глубоком уме, проницательности, незаурядных военных способностях старого революционера.

Последователи Бланки в разных странах, стремившиеся использовать его революционный опыт, оказались во многих отношениях ниже своего учителя, сведя идейное богатство его наследия к узкой концепции заговора небольшого меньшинства, по существу отрицавшей классовую борьбу. В 1895 г. во введении к отдельному изданию работы К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» Ф. Энгельс отмечал, что эпохе верхушечных переворотов, осуществления революций узкой группой революционеров, стоящих во главе бессознательных масс, пришел конец (см. 1, т. 22, с. 544). Причины коренились в новых экономических условиях, определивших переворот

в военном деле, потребовавших коренного пересмотра основных проблем стратегии и тактики революционной борьбы и прежде всего отказа от безнадежно устаревших представлений о соотношении роли политических партий и широких народных масс в коренной ломке существующих отношений. Тем самым Энгельс указал, что тактика революционеров прошлого не была лишь сплошной цепью ошибок и заблуждений, но коренилась в имеющих объективный характер слабостях рабочего и демократического движения периода поздних буржуазно-демократических революций. В этой связи особенно рельефно выступают политическая деятельность и теория самого Бланки, наиболее полно отразившего в специфических условиях Франции XIX в. основные черты революционности в капиталистических странах Европы домонополистической эпохи.

Неразвитость общественных отношений во Франции первой половины XIX в. проявилась в идеалистическом толковании истории у Бланки, в его положении о примате политики над экономикой, в преувеличении роли «законодателя», свойственной всем социалистам-утопистам. Но Бланки велик тем, что, проделав до конца труднейший, полный драматических противоречий путь, совпавший с тремя французскими революциями, всегда находясь в авангарде революционных сил, внес свой вклад в политическую эмансипацию западноевропейского рабочего движения, способствуя сознательно или невольно освобождению пролетариата от мелкобуржуазных иллюзий.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
2. Бланки Л. О. Избр. произв. М., 1952.
3. Домманже М. Бланки. Л., 1925.
4. Жеффруа Г. Заключенный. Пг., 1922.
5. Зеваэс А. Огюст Бланки. М., 1922.
6. Красный С. Эволюция взглядов Л. О. Бланки. Л., 1925.
7. Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. в 5-ти т. М., 1956—1958.
8. Da Costa Ch. Les blanquistes. Paris, 1912.
9. Molinier S. Blanqui. Paris, 1948.
10. The glorious revolutionary. — The Times, 1879, 28 April.

В. В. Сергеев

ПАЛЬМЕРСТОН И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЕВРОПА 1848—1849 гг.

В политической биографии английского вельможи Джона Темпля Пальмерстона, министра иностранных дел, а затем и премьер-министра, 1848—1849 годы занимают важное место. Особенность этого периода заключалась в том, что мощные революционные бури, обрушившиеся на Европу, широкий размах

национальных движений грозили сокрушить реакционную политическую систему венского образца 1815 г. и привести к коренным изменениям в европейской расстановке сил. Такая перспектива не устраивала правящую верхушку Англии, извлекавшую немалые экономические и политические выгоды из результатов Венского конгресса и заинтересованную в скорейшем подавлении революционно-национальных выступлений на континенте. Дипломатия Пальмерстона, который, по оценке К. Маркса, «узурпировал абсолютную власть в управлении национальными ресурсами Британской империи в определении направления ее внешней политики», была важным средством вмешательства официального Лондона в европейские события (1, т. 15, с. 327).

В английской буржуазной пальмерстониане до сего времени преобладает некритический подход к позиции и действиям министра иностранных дел в 1848—1849 гг. Большинство авторов подчеркивает либерализм внешнеполитического курса Англии, пишет о сочувственном отношении Пальмерстона к европейским революционерам, определяемом его приверженностью к идеям конституционализма. «Он предпочитал такой путь, при котором абсолютистские режимы были бы ликвидированы постепенно и без революционного вмешательства, но в необходимых случаях был готов приветствовать революцию» (9, p. 558), — пишет английский историк Дж. Риддли. Аналогичны высказывания Д. Джадда, который не сомневается в том, что «Пальмерстон с определенной симпатией относился к европейскому национальному движению» (8, p. 88). Эти авторы оценивают характер английской дипломатии, основываясь на положениях парламентской речи министра иностранных дел 25 июня 1850 г., когда он заявил: «Мы полагали, что интересам Англии во всех отношениях, коммерческом и политическом, будет отвечать установление конституционных режимов» (2, v. CXII, p. 418).

Другая часть английских историков не склонна преувеличивать симпатии Пальмерстона к европейским революционерам. По мнению К. Бурна, он «был не бóльшим сторонником революции, чем Каннинг» (4, p. 29). Главной заботой английского кабинета была не поддержка конституционного и национального движения, а сохранение выгодного Англии европейского равновесия сил. Интересно в этой связи замечание М. Чемберлена о том, что «баланс силы для него (Пальмерстона. — *В. С.*) больше, чем национализм, и у него не было иллюзии относительно того, что все происходящее в Европе — не просто борьба за конституционные права... но великое социальное столкновение, которое может привести неизвестно куда» (5, p. 63).

Действительно, революции 1848—1849 гг. отчетливо показали возросшую общественную роль пролетариата, который не только шел в авангарде буржуазно-республиканского движения, но в ряде выступлений демонстрировал свою антибуржуазную революционность. Английская правящая верхушка достаточно пра-

вильно ориентировалась в расстановке классовых и политических сил в Европе, а также в характере революционной борьбы. В письме поверенному в делах Англии в Мюнхене от 20 апреля 1848 г. Пальмерстон писал: «Борьба, происходящая сейчас во многих частях Европы, ведется между теми, кто не имеет собственности, и теми, кто хочет ее сохранить» (9, p. 335). Понятно, что если и можно говорить о симпатии Пальмерстона, то лишь относительно тех умеренно-конституционных политических сил, которые стремились реформировать европейские режимы по английскому образцу. Однако даже с учетом этого обстоятельства необходимо уточнить, насколько серьезно можно принимать конституционные симпатии Пальмерстона. Оценка его деятельности должна учитывать реальное соотношение между принципами конституционализма в европейской политике Англии и экономико-политическими интересами английской буржуазии. Данная статья предлагает лишь постановку этого вопроса относительно периода 1848—1849 гг. Кроме того, речь пойдет о влиянии революционных событий на подход английского министерства иностранных дел к задаче сохранения равновесия сил между крупнейшими державами Европы.

Рассмотрим позицию английского руководства по отношению к революционной Франции. С точки зрения внешнеполитических интересов Англии революция 1848 г. подоспела вовремя. Активная политика июльской монархии серьезно угрожала равновесию сил на континенте, ущемляла интересы Британской империи на Ближнем Востоке и вследствие этого привела во второй половине 40-х годов к резкому расхождению между Францией и Англией. Революция устранила для Англии опасность назревающего военного конфликта с соперницей. С другой стороны, ликвидация монархии и установление во Франции республиканского строя встревожили определенные круги в Лондоне. 28 февраля 1848 г. Пальмерстон пишет английскому послу в Париже лорду Нормэнби о своей озабоченности «перспективами республики во Франции» (3, v. I, p. 80). Одной из причин озабоченности правительственных сфер Англии событиями во Франции было активное выступление там радикально-демократических и пролетарских сил. Пальмерстон опасался, что «пример всеобщего избирательного права во Франции взбудоражит наше население, не имеющее избирательных прав, и вызовет требования ненужного расширения права голоса, тайного голосования и других вредных вещей» (3, v. I, p. 80). В этих условиях либерализм Пальмерстона отступает на задний план, английская дипломатия переходит к поддержке наиболее реакционных сил французского общества, завершившейся, по выражению К. Маркса, «откровенным участием Пальмерстона в заговоре 2 декабря, приведшем к свержению Французской республики» (1, т. 9, с. 568).

По-другому, хотя с тем же результатом, строилась англий-

ская политика по отношению к итальянскому национально-освободительному движению. Пальмерстон отводил Италии важное место в своих планах европейской расстановки сил. В этой связи следует отметить, что министр иностранных дел Англии, охраняя в целом условия мирного договора 1815 г., готов был при благоприятных условиях выступить в пользу отдельных изменений, в частности в Италии. 15 июня 1848 г. в одном из писем он развивает свой план решения итальянского вопроса: «Я хотел бы видеть всю Северную Италию объединенной в одно королевство, включающее Пьемонт, Ломбардию, Венецию, Парму и Модену... Такое устройство Северной Италии чрезвычайно способствовало бы миру в Европе, так как между Францией и Австрией было бы расположено нейтральное государство, достаточно сильное, чтобы не быть связанным симпатиями ни с Францией, ни с Австрией» (5, p. 124). В интересах реализации этого плана английская дипломатия не прочь была позаигрывать с итальянским национально-освободительным движением. До тех пор, пока оно развивалось в рамках конституционного монархизма под политическим влиянием буржуазии и не грозило опасным столкновением Англии с Австрией и Францией, Пальмерстон весьма активно выступал в его поддержку. Он обвинял австрийские власти в притеснении итальянцев: убеждая их в том, что Италия для Австрии — «ахиллесова пята, а не щит Аякса» (7, p. 199). Одновременно министром иностранных дел Англии была предпринята попытка отстранить Францию от участия в итальянских делах из-за опасений ее чрезмерного усиления, а также возможности австро-французской войны. Последующий рост революционных настроений в Италии, активизация левых республиканцев явно не укладывались в рамки конституционных представлений Пальмерстона. К тому же нежелание Австрии идти на уступки в Северной Италии и вмешательство Франции весьма осложнили внешнеполитические аспекты итальянской проблемы. Английской дипломатии не удалось изолировать ее от других сложных европейских вопросов, неразрывно связанных с венской системой 1815 г. Все это вызвало смену дипломатического курса Англии, и ключом к пониманию позиции Пальмерстона в итальянских делах служит мысль К. Маркса о том, что английский лорд сначала взбудоражил Италию лживыми обещаниями, а затем оставил ее «во власти Бонапарта и короля Фердинанда, папы и императора» (1, т. 11, с. 512).

Решение итальянского вопроса во многом зависело от результатов революции в Австрийской империи, которая вызывала большую тревогу английского руководства. Многочисленные заявления Пальмерстона в парламенте, дипломатическая переписка и другие документы свидетельствуют о чрезвычайной заинтересованности буржуазной Англии в сохранении целостности Австрийской империи за счет разгрома венгерского национального движения. «Австрия выступает в качестве важнейшего

элемента равновесия европейских держав, — говорил Пальмерстон 21 июля 1849 г. в парламенте. — Политическая независимость и свобода Европы связаны, по моему мнению, с существованием Австрии как великой европейской державы» (2, CVII, p. 808—809). В другой раз он заявил о том, что «отделение Венгрии от австрийской короны... было бы расценено правительством ее величества как большое политическое бедствие» (11, p. 106).

Такая позиция Лондона определила активную поддержку дома Габсбургов. 29 сентября 1848 г. в инструкциях английскому послу в Вене Пальмерстон сообщал о своей заинтересованности в том, чтобы «австрийское правительство смогло проводить такую политику, которая удержала бы и воссоединила более твердо и прочно противоречивые элементы австрийской империи» (11, p. 61). Национальные интересы венгров в данном случае не принимались во внимание, так как противоречили внешнеполитическим планам Англии. Характерно, что когда представитель венгерского революционного правительства предъявил в министерстве иностранных дел свои верительные грамоты, ему ответили, что «английское правительство не имеет других сведений о Венгрии, кроме как о составной части австрийской империи» (11, p. 46). Единственное изменение границ империи Пальмерстон допускал за счет северных итальянских территорий, которым отводилась самостоятельная роль в упрочении европейского равновесия, роль буфера между Францией и Австрией. «Я всецело за Австрию севернее Альп, — говорил Пальмерстон, — но против Австрии южнее Альп» (7, p. 204—205). Стремление английской верхушки сохранить австрийский абсолютизм и национальный деспотизм примирило ее с интервенцией в Венгрию войск царской России. Все это резко контрастировало с многочисленными заявлениями Пальмерстона относительно конституционных и национальных симпатий английского руководства. К. Маркс справедливо обвинил Пальмерстона в том, что тот «предал Венгрию так же, как и Италию» (1, т. 30, с. 454).

Большой интерес вызывает позиция Пальмерстона в германском вопросе. Национальное объединительное движение в самом центре Европы серьезно затрагивало интересы ведущих государств континента и могло привести к существенному изменению европейского баланса сил. Английское руководство еще до 1848 г. задумывалось о перспективах англо-германских взаимоотношений. «Не может быть сомнения в том, что чрезвычайным интересом Англии является развитие тесных политических связей и союза с Германией, — пишет Пальмерстон 16 сентября 1847 г. — Англия и Германия в равной степени стоят перед одной опасностью. Эта опасность — агрессия со стороны России или Франции». (7, p. 277). Мысль о заинтересованности Англии в объединении Германии встречается и в других, более поздних

документах министра иностранных дел. 25 марта 1848 г. он пишет, что объединение Германии и ее усиление «будут способствовать сохранению общего мира» (12, p. 229).

Подобные заявления первого дипломата Англии, казалось, обеспечивали делу германского единства поддержку министерства иностранных дел. Однако внешнеполитическая практика Лондона в 1848—1849 гг. складывалась иначе. Английский кабинет отказался вступить в тесный контакт с франкфуртским национальным собранием и созданным им германским правительством. Своим дипломатическим эмиссарам в Германии Пальмерстон дал указание занять позицию стороннего наблюдателя. Что же произошло? Почему Пальмерстон отошел от своих прежних взглядов относительно единства Германии? Нет ли здесь аналогии с позициями английского правительства по итальянскому и австрийским вопросам? Безусловно, есть. Прежде всего это воздействие на Пальмерстона фактора широкого демократического движения в Германии, которое оказывало мощное влияние на борьбу за объединение страны. Английский министр испытывал растущее политическое недоверие к франкфуртскому парламенту и советовал германским политическим деятелям скорее «избавиться от крайностей демократии» (12, p. 236). Скандинавский исследователь Г. Ейк пришел к выводу, что «чем больше франкфуртский парламент двигался влево, тем больше Пальмерстон, герой радикалов в Англии и сторонников конституционного правления во всей Европе, начал противодействовать германскому единству» (6, p. 121). С другой стороны, на позицию руководителя министерства иностранных дел в германском вопросе влиял и внешнеполитический фактор. Притязания немцев на Шлезвиг-Гольштейн, война Пруссии против Дании еще более усилили настороженность английского кабинета. Получалось так, что германские события не только не способствовали стабилизации баланса сил, но разрушали его на севере Европы, угрожая балтийской торговле Англии. Объединение Германии также могло серьезно ущемить австрийские интересы, ослабить позиции Австрии в Европе, чего английская сторона не могла допустить. Поэтому даже позднее, в конце 1848 и в 1849 г., когда республиканское движение в Германии пошло на убыль и стал осуществляться конституционно-монархический, имперский вариант объединения, английские власти негативно относились к перспективам германского единства и всячески противодействовали ему. 3 декабря 1850 г. Пальмерстон писал английскому посланнику в Берлине, что «курс, которым до сих пор следовало прусское правительство, не был настолько отмечен благоразумием, стабильностью и согласованностью, чтобы мы поддерживали его будущие безрассудные шаги» (10, p. 283). Следует отметить в этой связи, что даже те исследователи, которые в целом положительно оценивают деятельность Пальмерстона, признают, что «он не принял германскую революцию и движение за единую германскую республику» (9, p. 344).

Краткий обзор европейской дипломатии Пальмерстона в 1848—1849 гг. показывает, что она объективно содействовала разгрому национальных и демократических движений и тем самым выполнила по отношению к ним контрреволюционную роль. Европейские революции подвергли проверке идеи конституционализма, которые охотно развивал лорд Пальмерстон, и выявили их классовую и национальную ограниченность. Заявления Пальмерстона о заинтересованности Англии поддержать либеральные режимы и национальные движения в Европе выполняли свою идеологическую функцию, являясь прикрытием расчетливой внешней политики английской буржуазии. Главным для Пальмерстона было обеспечение такого равновесия сил европейских государств, которое было бы выгодно английским торгово-промышленным кругам. В одном из своих более поздних выступлений лорд Пальмерстон, подтвердив приверженность принципам конституционализма, сказал о том, что в интересах Англии он готов пожертвовать ими и даже помогать системе рабства, как это было в США (9, p. 589). К. Маркс отмечал, что Пальмерстон «сумел внести в управление иностранными делами все то притворство и противоречивость, которые составляют сущность вигизма... Если угнетатели всегда могли рассчитывать на его действенную помощь, то угнетенных он щедро одаривал своим ораторским великодушием» (1, т. 9, с. 361—362).

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
2. Hansard's parliamentary debates. 3-d series. London, 1848—1849.
3. Ashley E. The life and correspondence of Henry John Temple Palmerston. London, 1878.
4. Bourne K. The foreign policy of Victorian England 1830—1902. Oxford, 1970.
5. Chamberlain M. E. British foreign polity in the age of Palmerston. London, 1980.
6. Eyck F. The Prince Consort. A political biography. London, 1959.
7. Hayes P. The nineteenth century 1814—1880. New York, 1975.
8. Judd D. Palmerston. London, 1975.
9. Riddley J. Lord Palmerston. London, 1970.
10. Buthgate D. The most English minister. The policies and politics of Palmerston. London, 1966.
11. Sproxton Ch. Palmerston and the Hungarian revolution. Cambridge, 1919.
12. Weisbrod K. Lord Palmerston und die Europäische revolution von 1848. Heidelberg, 1967.

В. М. Монахов

У. Г. СЬЮАРД — ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ ЭПОХИ ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА В США

Государственный секретарь США в 1861—1869 гг. У. Г. Сьюард был весьма заметной фигурой на политическом небосклоне североамериканского государства в середине XIX в. Американ-

ская буржуазная историография, как правило, характеризует деятельность Сьюарда в весьма восторженных тонах. Столь авторитетный историк, как Б. Хендрик, дает, например, такую оценку: «Как бы ни была ошибочна позиция Сьюарда по внутриполитическим вопросам, он был великим государственным секретарем, а многие убеждены — величайшим из всех, кто когда-либо возглавлял государственный департамент» (8, p. 257).

Следует заметить, что дипломатическое дарование У. Г. Сьюарда превозносится не только современными американскими историками; о нем с похвалой отзывались как многие современники, так и общественные и государственные деятели последующих десятилетий. К примеру, редактор известного журнала «The North American Review» А. Т. Райс охарактеризовал Сьюарда «как способнейшего американского дипломата столетия» (4, p. XII).

Значительное внимание, уделяемое американской историографией личности У. Г. Сьюарда, объясняется не столько его дипломатическими способностями, сколько тем идейным наследием, которое оставил после себя видный государственный и политический деятель. На это прямо указывает У. Лафебр: «Его (Сьюарда. — *В. М.*) видение империи определяло американскую политику в течение следующего столетия» (9, p. 25). С ним солидарен и другой исследователь американского экспансионизма Р. Ван Олстин, считающий Сьюарда «центральной фигурой американского империализма XIX века» (11, p. 176).

Еще задолго до своего появления в государственном департаменте Сьюард приобрел репутацию одного из наиболее ярких политических деятелей страны. Влиятельный сенатор являлся лидером умеренного крыла республиканской партии и реально претендовал на пост президента Соединенных Штатов. Однако, когда он увидел, «что его попытки выставить свою собственную кандидатуру потерпели крушение, он, в качестве республиканского Ришелье, предложил свои услуги человеку, которого считал республиканским Людовиком XIII» (1, т. 15, с. 391). Так Сьюард стал «премьером» в администрации Линкольна.

Политическая карьера У. Г. Сьюарда (член законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк, затем губернатор этого штата, сенатор от Нью-Йорка и, наконец, государственный секретарь США) обращает на себя внимание прежде всего своим сходством с карьерами многих американских политических и государственных деятелей. И по сей день пост губернатора «имперского» штата открывает его обладателям доступ к вершинам власти в стране.

Биография Сьюарда как политического и государственного деятеля интересна и потому, что он явился характерным представителем того типа политиков, которым присущи прежде всего прагматизм и беспринципность. Примечательно, что наиболее авторитетный из биографов Сьюарда Ф. Бэнкрофт выделяет

два периода в его деятельности. Первый — до 1860 г., когда Сьюард проявляет себя главным образом как политик, добивающийся места и власти, и второй — после 1861 г., где он выступает уже как государственный деятель, преданный высшим интересам своей страны. (Этой авторской концепции подчинена и структура созданной Ф. Бэнкрофтом биографии Сьюарда: в первом томе читатель знакомится с жизнью и деятельностью Сьюарда до 1860 г., а во втором этот политик предстает уже в качестве государственного секретаря в администрации вступившего в 1861 г. в Белый дом президента А. Линкольна.) Ф. Бэнкрофт задается вопросом: были ли антирабовладельческие выступления У. Г. Сьюарда искренними или же он использовал их лишь для политического возвышения? Ведь высказывания Сьюарда по проблеме рабства и его конкретные политические действия обнаруживают очевидное несоответствие.

Вопрос о рабстве был центральным вопросом, вокруг которого шла общественно-политическая борьба в США в 50-е годы XIX в. У. Г. Сьюард принадлежал к той группе политических лидеров северной буржуазии, которые прекрасно понимали, что рабовладельческая система является препятствием на пути дальнейшего быстрого развития капитализма в США. Он со всей очевидностью представлял себе глобальный характер противоречия между рабством и свободой в жизни американского общества и подчеркивал, что «их антагонизм является коренным и, следовательно, вечным. Компромисс лишь продолжает конфликт, неизбежно вовлекающий все вопросы национального интереса — вопросы государственных доходов, внутреннего развития, промышленности, торговли, политического соперничества и даже все вопросы войны и мира» (5, v. I, p. 108).

Первым значительным выступлением У. Г. Сьюарда против рабства явилась его речь в сенате при обсуждении условий компромисса 1850 г., разрешавшего острый конфликт, который возник в связи с вступлением в Федеральный союз нового штата — Калифорнии. В этом выступлении Сьюард говорил о том, что проблема рабства может быть решена двумя путями: «либо Союз будет сохранен, и рабство под неуклонным, мирным воздействием моральных, социальных и политических причин будет устранено постепенными и добровольными усилиями, на условиях компенсации; либо Союз будет расторгнут, и последует гражданская война, которая принесет насильственное, полное и немедленное освобождение». Далее Сьюард отмечал, что Соединенные Штаты достигли той стадии в своем развитии, когда «кризис можно предвидеть, и мы должны его предвидеть» (6, v. 1, p. 247—250).

В этой речи сенатор произнес и ставшую крылатой фразу о том, что «существует закон более высокого порядка, чем конституция». Сьюард впервые выступал в стенах сената США, но

это выступление принесло ему известность во всей стране и репутацию лидера аболиционистски настроенных вигов.

Позиция молодого сенатора в отношении компромисса 1850 г. подверглась нападкам со стороны многих защитников рабства. В сенате особенно резко выступил Г. Клей, а сенатор Прэтт из Мэриленда даже потребовал изгнать Сьюарда из сената Соединенных Штатов.

В середине 50-х годов XIX в. в стране в условиях дальнейшей поляризации политических сил возникает республиканская партия, объединившая в своих рядах хотя и довольно разнородные общественные течения, но устремленные, однако, к единой общей цели — остановить дальнейшую экспансию рабовладельческой системы. В 1855 г. Сьюард был переизбран в сенат уже от республиканской партии, в которую он вошел с самого ее основания. Крах вигизма заставил Сьюарда утверждать себя среди республиканцев, где так ярко выделялись С. Чейз и Ч. Самнер. Особенно сильный общественный резонанс вызвала речь Сьюарда, произнесенная им 25 октября 1858 г. в Рочестере, в которой сенатор охарактеризовал противоречие между рабством и свободой в США как «неукротимый конфликт» (5, v. IV, p. 289—302).

Газеты южан-рабовладельцев после выступления Сьюарда в Рочестере называли его «дьяволом» и «чудовищем» (3, с. 147), а мэр Нью-Йорка Ф. Вуд спустя некоторое время писал о своем желании «повесить Сьюарда, если б это было возможно» (2, с. 263). Совершенно иначе заявления Сьюарда расценивались противниками рабовладения. Многие склонны были считать, что сенатор будет первым кандидатом от республиканской партии на предстоявших в 1860 г. президентских выборах.

В условиях завязавшейся предвыборной борьбы, протекавшей в сложной политической обстановке кануна гражданской войны, Сьюард, казалось бы неожиданно, резко меняет свою позицию. В своих выступлениях он подчеркивает, что первостепенным вопросом является вопрос сохранения федерального Союза, а не проблема рабства (6, v. 2, p. 319). Вступив в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на пост президента, У. Г. Сьюард опасался, что его предыдущие радикальные выступления против рабовладения могли отпугнуть от него умеренно настроенных избирателей. Поэтому, обретя репутацию борца против рабства, Сьюард попытался сгладить впечатление о себе как о радикале. Так, после знаменитой рочестерской речи уже в ноябре 1858 г., выступая в г. Роум (штат Нью-Йорк), он утверждал, что «наш спор вовсе не с рабством, а лишь с его подстрекателями и защитниками среди нас самих», и уверял, что поскольку «рабовладельцы — это класс собственников, то интерес вынуждает их к сдержанности» (6, v. 2, p. 463). Таким образом, Сьюард пытается создать о себе впечатление как о человеке, лишенном каких-либо предубеждений против рабовладельцев.

Именно эту цель преследовало заявление, сделанное им в феврале 1860 г.: «Расхождения во мнениях между нами, даже по вопросу о рабстве, — это политические расхождения, а не социальные либо личные. Среди нас нет ни одного человека, который был бы нелояльно настроен к целостности Союза» (6, v. 2, p. 83).

Такие колебания и нечеткость позиции по важнейшему вопросу национальной жизни предопределили неудачу Сьюарда на республиканском конвенте в Чикаго, где партия выдвигала своего кандидата в президенты. Одних не устраивали радикальные фразы Сьюарда (его выдвижение грозило резко обострить отношения с южными рабовладельческими штатами, угрожавшими сецессией), другим он представлялся не заслуживающим доверия политиканом, радикализм которого «был больше риторическим, нежели реальным» (6, v. 1, p. 524; 12, p. 199).

Чем же объяснить столь противоречивые устремления известного политика? Ф. Бэнкрофт вслед за К. Шурцем считал, что «на Сьюарда оказали влияние два человека — Джон Куинси Адамс и Терло Уид... Сьюард как человек высоких побуждений и принципов был обязан этим Адамсу; Сьюард как политик, как человек, подчиняющий убеждение целесообразности, был учеником Т. Уида» (7, p. 62). При этом за Уидом укрепилась репутация деятеля, который считал беспринципность не предосудительной, исключая тот случай, когда к ней прибегали политические оппоненты. Он был твердо убежден, что «в политике допустимо почти все, если это делается в интересах партии» (7, p. 62).

У. Г. Сьюард так охарактеризовал свои взаимоотношения с этим крупнейшим боссом и лоббистом деловых кругов Нью-Йорка, которому он в немалой степени был обязан своей политической карьерой: «Сьюард — это Уид, а Уид — это Сьюард. То, что я делаю, Уид одобряет. То, что он говорит, я подтверждаю. Мы одно целое» (8, p. 159).

Примиренческая позиция, занятая Сьюардом накануне гражданской войны, объясняется не столько «дурным» влиянием на него Т. Уида, сколько настроениями деловых кругов Уолл Стрита, Новой Англии и Пенсильвании, чьи интересы как раз и представляли Сьюард и Уид. Среди тех, с кем поддерживали отношения лидеры умеренных республиканцев, достаточно упомянуть таких денежных королей, как О. Белмонт, А. Т. Стюарт, У. Астор, Джей Гульд, У. Эспинуолл, М. Гриннелл, Э. Лоуренс (8, p. 159). «Большой бизнес» в этот период был заинтересован в компромиссе с рабовладельцами, опасаясь возможных негативных последствий для деловой жизни в случае вооруженного конфликта внутри страны. Здесь уместно будет отметить, что тому же О. Белмонту, нью-йоркскому представителю Ротшильдов, который и сам являлся крупнейшим капиталистом, юг был должен 200 миллионов долларов (3, с. 164).

Для понимания позиции Сьюарда важен и такой момент. Считая, что исторически рабство обречено, сенатор тяготел лишь к «законным, конституционным и мирным средствам» борьбы с этим злом (5, v. 1, p. 76, 86—87). Хотя его публичным выступлениям и свойственна радикальная фраза, на деле он постепенно все больше склонялся к компромиссу. Когда после победы А. Линкольна на выборах угроза единству страны стала реальной, Сьюард готов был пойти на такой компромисс на любых условиях.

Интересно, что внимательно следивший за ходом событий в Северной Америке К. Маркс отмечал, что Сьюард «мудро предвидел и мужественно предсказал „неизбежность конфликта"» (1, т. 16, с. 99), вместе с тем он обратил внимание как раз на то, что «Сьюард стал центром всех попыток компромисса... и... не его вина, что не был заключен мир любой ценой» (1, т. 15, с. 391). О странной перемене в позиции «Демосфена республиканской партии» Маркс мог судить довольно скоро уже хотя бы потому, что «северные адвокаты Юга, как, например, „New-York Herald", для которых до сих пор Сьюард являлся bête noire *, внезапно принялись восхвалять его как государственного деятеля, олицетворяющего примирение...» (1, т. 15, с. 391).

О том, сколь далеко готовы были пойти лидеры умеренного крыла северной буржуазии в попытке добиться компромисса с рабовладельцами, можно судить хотя бы по представленной Сьюардом 1 апреля 1861 г. А. Линкольну записке «Мысли для рассмотрения президента». В этом документе государственный секретарь предлагал развязать с европейскими державами войну, которая, по его мнению, сплотила бы нацию и помогла преодолеть внутренний раздор (10, p. 34—35). Весьма яркий пример того, как беспринципность в политике ведет к авантюризму.

В этой связи следует привести общую оценку деятельности американского политика на государственном поприще, данную К. Марксом: Сьюард «дал новое доказательство того, что виртуозы ораторского искусства являются государственными деятелями, опасными своей ограниченностью. Стоит только почитать его государственные депеши! Какая отвратительная смесь высокопарного фразерства и мелочности духа, показной силы и действительной слабости!» (1, т. 15, с. 391).

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
2. Захарова М. Н. Народное движение в США против рабства. М., 1965.
3. Сэндберг К. Линкольн. М., 1961.
4. Reminiscences of Abraham Lincoln by distinguished men of his time / Ed. by A. Th. Rice. New York, 1886.

* — пугалом.

5. The works of William Henry Seward / Ed. by G. E. Baker. 5 vols. New York, 1853—1884 (Reprint. 1972).
6. Bancroft F. The life of William H. Seward. 2 vols. New York, 1900.
7. Cook J. E. Frederic Bancroft, historian. Norman (Okla.), 1957.
8. Hendrick B. J. Lincoln's war cabinet. Garden City (New York), 1961.
9. La Feber W. The new empire. An interpretation of American expansion 1860—1898. Ithaca, 1963.
10. Temple H. W. William H. Seward. — In: Bemis S. F. (ed.) The American secretaries of state and their diplomacy. Washington, 1963, vol. VII, p. 3—115.
11. Van Alstyne R. The rising American empire. New York, 1960.
12. Warren G. H. Imperial dreamer: William Henry Seward and American destiny. — In: Makers of American diplomacy. From Benjamin Franklin to Alfred Thayer Mahan / Ed. by F. J. Merli and T. A. Wilson. New York, 1974.

Е. З. Мирская

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТОНИО ЛАБРИОЛЫ

Антонио Лабриола — выдающийся итальянский философ, заложивший основы марксистской традиции в Италии, один из основателей итальянской социалистической партии занимает видное место и в международном рабочем движении конца XIX — начала XX в. Личность Лабриолы, его деятельность и творчество вызывают неослабевающий интерес историков и философов, особенно в Италии. В современной итальянской историографии до сих пор не утихает дискуссия по вопросу о том, как определить роль Лабриолы в итальянском социалистическом движении: был ли он лишь теоретиком социализма или подлинным борцом, политическим деятелем.

Спор о Лабриоле имеет принципиальное значение не только для понимания узловых вопросов теоретического наследия этого мыслителя, но и с точки зрения нынешних проблем итальянского рабочего движения и современной идеологической борьбы. Дело в том, что современные итальянские историки, рассматривающие Лабриолу исключительно как «теоретика социализма», оторванного от повседневной социально-политической борьбы, делают вывод, будто заложенная Лабриолой в Италии марксистская традиция была творением кабинетного ученого и потому совершенно не соответствовала реальным тенденциям развития рабочего движения в этой стране, а следовательно, основные положения марксизма для Италии должны быть пересмотрены. Именно этим определяется и значение вопроса о соотношении теоретического и политического аспектов в творчестве и деятельности Антонио Лабриолы.

Формальной основой спора является то обстоятельство, что,

придя к марксизму в последний период своей жизни в результате длительной идейной и политической эволюции, исходной точкой которой была философия неогегельянства, Лабриола в середине 90-х годов устраняется от непосредственного участия в политической жизни страны и в итальянском социалистическом движении. Таким образом, он не стал активистом социалистической партии, политическим борцом в привычном понимании этого слова. При формальной интерпретации фактов биографии Лабриолы может создаться впечатление, что его деятельность и творчество представляют интерес главным образом для истории философии, поскольку теоретик не может якобы играть сколько-нибудь заметной роли в политической жизни (5; 6; 7).

Однако подобный вывод в корне неверен. Мыслителя нельзя рассматривать в отрыве от его времени. К Лабриоле это относится, быть может, больше, чем к кому бы то ни было другому; именно специфика эпохи, особенности конкретной исторической ситуации сыграли, пожалуй, определяющую роль в складывании облика Лабриолы-марксиста.

Марксистские убеждения Лабриолы сформировались в 80-х — начале 90-х годов. Это был период, который можно назвать переломным и в истории рабочего движения, и в развитии общества в целом. Это был канун империализма, время, когда перед рабочим движением и его партиями возникала уже необходимость перейти от выработки теории к формулированию конкретной стратегии практических действий в наступающую историческую эпоху. Однако Италия в социально-политическом отношении сильно отставала от передовых европейских стран. Вследствие этого невысок был и уровень классового сознания итальянского пролетариата, имевшего, однако, богатые традиции революционной демократической и национально-освободительной борьбы. Позднее объединение страны и запоздалое развитие капитализма в Италии задержали складывание рабочего класса, формирование его классовой идеологии, пролетариат долгое время не мог избавиться от религиозных и корпоративных пережитков, находился под влиянием бакунизма. А. Лабриола писал по этому поводу Ф. Энгельсу 21 мая 1892 г.: «Итальянские рабочие есть в большинстве своем просто ремесленники и просто рабы своих хозяев. Для них 1 Мая — что-то вроде праздника Мадонны» (3, p. 59).

Вместе с тем в Италии не существовало социалистической традиции — такой, как, например, во Франции или в Германии, — которая могла привнести в рабочее движение организационное начало и дать ему идейно-теоретическую основу. Оба фактора была взаимосвязаны: слабое в идейном отношении социалистическое движение не могло преодолеть отсталости пролетариата, а отсталость пролетариата обусловливала, в свою очередь, идеологический эклектизм во взглядах и поведении социалистических вождей. «Когда те немногие, — писал Лаб-

риола Энгельсу, — кто является в большей или меньшей степени социалистами, обращаются к невежественному, аполитичному, да к тому же в значительной степени реакционно настроенному пролетариату, то они почти неизбежно рассуждают как утописты и действуют как демагоги» (3, p. 76).

Иначе говоря, задача соединения рабочего движения с научным социализмом, нелегкая сама по себе, в Италии особенно осложнялась. Оценивая современную ему ситуацию, Лабриола писал: «В Италии не хватает связующего звена между стихийными проявлениями классовой борьбы и развитым сознанием пролетарской революции. Этим связующим звеном является социалистическая культура» (3, p. 13—14).

Исходя из этого, Лабриола весьма пессимистически оценивал ближайшие перспективы социалистического движения в Италии. По его глубокому убеждению, «для того, чтобы в Италии зародился и развивался социализм, необходимо множество условий, которые в настоящее время отсутствуют» (3, p. 40); в данный же момент (90-е годы) «Италия не готова к социализму» (8, p. 53). Поэтому, будучи, по оценке Энгельса, «последовательным марксистом» (1, с. 161), Лабриола, никоим образом не ставивший под сомнение необходимость и неизбежность революции как единственно возможной формы перехода от одной общественной формации к другой, вместе с тем не верил в ее близкую осуществимость: он писал о «грядущей, но не очень близкой социалистической революции» (4, p. 220).

Подобный пессимизм Лабриолы основывался на оценке не только итальянского, но и международного социалистического движения, которое, по его мнению, переживало в конце XIX—начале XX в. состояние застоя. 8 августа 1899 г. в письме В. Либкнехту он писал даже, что «социализм как таковой находится в настоящее время в состоянии регресса» (9, p. 389). Этот застой и регресс Лабриола объяснял наступлением «другого века», новой эпохи, сути которой он не понял, но почувствовал, что ее приближение оказывает влияние как на внутриполитическую жизнь и отношения между государствами, так и на развитие рабочего движения. «Я все больше утверждаюсь в убеждении, — писал он К. Каутскому, — что социализм вступает в период длительной паузы» (9, p. 395). При этом Лабриола уловил только одну из тенденций, тогда как влияние новой эпохи на рабочее движение было двояким. Будучи мыслителем доимпериалистической эпохи, Лабриола не мог предвидеть, что застой носит временный характер, что наступление империализма вызовет качественный скачок в развитии рабочего движения и что новая эпоха станет эпохой пролетарских революций.

Реально осознавая всю меру отсталости итальянского пролетариата и идейной незрелости его вождей, а также связывая это с общим периодом «паузы», наступившей, по его мнению, в раз-

витии международного рабочего движения, Лабриола считал, что главная задача и долг итальянских социалистов в конце XIX — начале XX в. состоят не в непосредственно практических действиях по «осуществлению революции», а в теоретическом доказательстве ее необходимости и неизбежности, в социалистической пропаганде. «Сейчас, — писал Лабриола в 1892 г., — практическая деятельность в Италии невозможна. Нужно писать книги, чтобы научить тех, кто хочет выступать в роли учителей. Италии не хватает науки и опыта, накопленных другими странами за полвека. Нужно заполнить этот пробел» (3, p. 65—66).

Таким образом, политический реализм не оставлял у Лабриолы никаких иллюзий относительно перспектив революции в Италии, в скорую осуществимость которой он не верил, но теоретическую подготовку которой считал главным своим долгом. Подготовка условий для социалистической революции и стала его практически-политической деятельностью — в той форме, как он понимал эту работу. А понимал он ее прежде всего как укрепление позиций итальянского пролетариата путем его просвещения и образования с тем, чтобы поднять его до теоретического уровня передовой социал-демократии Европы. Именно этой цели служат все его многочисленные публицистические и популяризаторские работы, главный теоретический труд «Очерки материалистического понимания истории», его борьба с ревизионизмом.

Отсталость итальянского пролетариата и отсутствие в стране социалистической традиции делали необходимым начинать просвещение рабочих с элементарного «обучения», т. е. с того, что уже было пройдено рабочим классом других западноевропейских стран. Но даже выработка «первоначального социалистического сознания» (8, p. 43—44) была чрезвычайно трудным делом. Вставало множество вопросов: «Как заполнить пробел размером в целый век истории? Как коротко рассказать о событиях, личностях, теориях и т. д., которые заключают в себе многочисленные периоды и этапы, не известные Италии и не пережитые ею?» (3, p. 102).

Специфическое понимание задач социалистов своего времени, пессимистическая оценка ближайших перспектив итальянского социалистического движения ставили Лабриолу в особое положение. Его обоснованный скептицизм вызывал иногда даже враждебное отношение к нему в среде социалистов. Лабриола и сам понимал, что оказался из-за этого в своего рода изоляции, но на уступки не шел. В одном из писем австрийскому социал-демократу Фишеру он признается: «Ты хорошо знаешь, что я никогда не пел панегириков итальянскому социализму. Напротив, из-за моей холодности я заработал обвинение в пессимизме со стороны многих иностранных товарищей» (9, p. 385). Именно здесь кроется причина того, что и при жизни Лабриолы, и сразу после его смерти, и в современной итальянской историографии

его часто называют «мыслителем-одиночкой». Лабриола действительно стоял несколько особняком в итальянском социалистическом движении, но сознательно шел на это, сохраняя верность своим принципам.

Лабриола отдавал себе отчет в том, что задача пропаганды марксизма в Италии, которую он перед собой поставил, крайне сложна, поскольку работать ему придется в одиночку и он вряд ли сможет увидеть результаты своей работы. Лабриола также опасался, что его пропаганда марксизма встретит не интерес и поддержку, а злобные нападки и обвинения в «академизме». Не случайно он долго не решался на публикацию своих «Очерков материалистического понимания истории», в которых намеревался в доступной форме изложить теорию марксизма для итальянских читателей. В письме к Энгельсу от 12 марта 1893 г. Лабриола писал, что первый раздел работы продуман до мельчайших деталей и все же он никак не может решиться оформить надлежащим образом и издать первый «Очерк», хотя никаких видимых препятствий к этому как будто не было. «Настоящая трудность, — с горечью замечал он, — заключается... в том, что нет никакой точки опоры, ибо позади и вокруг себя я вижу пустоту» (3, p. 101—102). В этих словах заключен трагизм всей жизни Лабриолы как теоретика марксизма и деятеля социалистического движения. Он сознавал, что отказ от активного участия в непосредственной практике партийной борьбы обрекает его на изоляцию и одиночество. Но это решение было его политическим выбором, ибо свою миссию как пролетарского политического деятеля Лабриола видел в том, чтобы работать для будущего. В этом смысле развитие теории и ее пропаганда приобретали для него значение политической практики. Это становится тем более очевидным, если учесть, что именно Лабриола первым ввел в научный оборот определение марксизма как «философии практики», понимая под этим термином взаимопереплетение теории и практики, философии и политики.

Таким образом, в рамках абстрактной альтернативы «теоретик или практик», в которые оказывается втиснутым происходящий среди итальянских историков спор об А. Лабриоле, невозможно понять его действительную историческую роль, его истинное место в социалистическом движении.

Ведь реальная позиция политического деятеля лишь проявляется в его отношении к теории или практике вообще, а определяется она тем, *какова* исповедуемая им теория и в *какой* связи с ней находятся *цели*, которые он ставит перед своей деятельностью. Выбор (между теоретической и практически-политической работой), сделанный Лабриолой, был обусловлен его идейной принципиальностью как последовательного марксиста и реалистической оценкой им перспектив революционной борьбы в Италии. Отсюда и его практический вывод, в соответствии с которым Лабриола считал наиболее важной в тогдашних условиях

для обеспечения успешного исхода этой борьбы социалистическую пропаганду, выработку и усвоение массами «социалистической культуры», а отсюда первоочередной для себя — работу в области теории.

Совершенно иным был политический реализм руководства социалистической партии во главе с Филиппо Турати, основанный на реформистском понимании социализма, на подходе к рабочему классу как одному из элементов политической системы буржуазного общества и потому ориентированный на то, чтобы пролетарская партия добивалась успеха своего дела путем соблюдения правил «политической игры», принятых в этом обществе, умения точно рассчитывать свою тактику.

Следовательно, за принятым итальянскими историками противопоставлением «теоретика» социализма «его практикам» необходимо увидеть не замечаемый этими историками спор о самой сути социализма, принципиальное различие двух политических линий. Именно Лабриола был в то время единственным в Италии социалистом, кто в полной мере осознал важность задач, которые надолго встали перед итальянским социалистическим движением, хотя ему и не было дано решить их даже теоретически.

Избегая ненужного упрощения личности А. Лабриолы, можно утверждать, что в своей жизни и деятельности он являл собой пример ученого в политике и политика в науке. Он был теоретиком и пропагандистом марксизма как «философии практики», позволяющей не только понять мир, но и изменить его.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 39.
2. Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М., 1964.
3. Labriola A. Lettre à Engels. Romana, 1949.
4. Labriola A. Saggi intorno alla concezione materialistica della storia. Parigi, 1937.
5. Bruzzo S. Il pensiero di A. Labriola. Bari, 1942.
6. Corsi M. A. Labriola e l'interpretazione della storia. Napoli, 1963.
7. Cortesi L. La costituzione del partito socialista italiano. Milano, 1962.
8. Chiavi A. Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti. Bari, 1947.
9. Valiani L. Questioni di storia del socialismo. Torino, 1958.

Н. Б. Стрельченко

ЭДУАР ЭРРИО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА «СРЕДНЕГО ПУТИ»

С именем Эррио связываются представления о политике, олицетворившем собой традиционные силы французской буржуазной демократии. Он был одной из ключевых фигур в политиче-

ской жизни Франции первой половины нашего века, являясь самым авторитетным лидером Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов. Его партия выражала интересы тех весьма многочисленных и политически активных средних слоев, которые, по выражению В. И. Ленина, оказались в «серединном положении» между крупной буржуазией и пролетариатом (см.: 1, т. 2, с. 215). В этих условиях стратегический курс радикалов заключался в охране буржуазной демократии как от посягательств монополистической буржуазии, так и от натиска социалистически настроенного пролетариата. И именно Эдуар Эррио наиболее последовательно отстаивал этот курс и лучше, чем кто-либо, продемонстрировал его возможности. Неповторимость Эррио состояла в том, что он с максимальной точностью и полнотой выразил взгляды тех, кому сам дал название «средние французы». Эррио ни разу не изменил своим идеалам буржуазного демократа, своему курсу — «среднему пути». В этой статье предпринята попытка кратко охарактеризовать теоретические основы политической деятельности Эррио и ее результаты.

Эррио был выходцем из простонародья. Родившись 5 июля 1872 г. в семье младшего пехотного офицера, он не мог рассчитывать ни на безбедное существование, ни на солидное образование. То и другое дал ему только счастливый случай, открывший перед Эррио дверь прославленной Эколь Нормаль. Тем не менее скромное происхождение и окружение в детстве способствовали развитию в нем глубокого и искреннего демократизма, верность которому он сохранил на всю жизнь.

После окончания Эколь Нормаль Эррио был назначен преподавателем лицея в Лионе, где в 1896 г. приписался к комитету партии радикал-социалистов. В 1905 г. он избирается мэром Лиона, второго по величине и значению города Франции. В 1919 г. Эррио стал председателем партии радикалов.

Эррио боролся против реакции, выступал за отпор фашизму и агрессии, за развитие советско-французского сотрудничества. Во время второй мировой войны 1939—1945 гг. он выступал против режима Виши. В 1942 г. был арестован, затем интернирован немецко-фашистскими оккупантами. Э. Эррио содействовал укреплению режима IV Республики, был противником ремилитаризации Германии и создания «Европейского оборонительного сообщества».

Что же представляла собой политическая философия Э. Эррио? Будучи не только политиком, но и историком и литературоведом, Эррио с профессиональной точностью определил истоки своей политической доктрины: идеи великих французских просветителей XVIII в. В эпоху становления капитализма идеалы республики и буржуазно-демократических свобод вдохновляли поднимающийся класс буржуазии, выступавший носителем общественного прогресса, на борьбу против абсолютизма. В эпоху империализма они оказались как нельзя более со-

звучны задачам немонополистической буржуазии, выступавшей против антидемократизма монополий. Однако радикалы отнюдь не были революционерами. Они отрицали неустранимость классового антагонизма в капиталистическом обществе и признавали возможность его безграничного прогресса (2, p. 55—57), который Эррио связывал именно с наличием республиканского строя и парламента. Парламент же он рассматривал как важнейший политический институт республики. Подобное отношение Эррио к парламенту не было случайным. В его основе лежал тот объективный факт, что в условиях монополистического капитализма экономически маломощные, но численно весьма значительные средние слои французского общества именно через парламент, где они всегда располагали значительным количеством мандатов, пытались отстаивать свои экономические интересы и политические идеалы. Главной заботой радикалов была защита мелкой частной собственности как от монополий, так и от пролетариата. Их целью было достижение в длительной перспективе посредством реформ справедливого сочетания интересов всех слоев общества. Полагая, что правительственная деятельность — наиболее эффективный путь достижения этого, Эррио разделял традиционный тезис о «правительственном призвании» своей партии и готов был в этих целях блокироваться как с левыми, так и с правыми партиями. Такие блоки легче всего было создавать, опираясь на различные фракции внутри самой партии радикалов, поэтому Эррио считал вполне оправданной широкую терпимость партии к расхождениям во взглядах ее членов (6, p. 136).

Философским обоснованием такой практики служил для Эррио принцип свободы мысли Вольтера и Руссо. Он подчеркивал, что уважение свободы мысли каждого члена партии ведет к аморфности ее структуры, создает почву для появления фракций, опираясь на которые партия радикалов в целом способна вступать в самые широкие и самые различные коалиции (5, с. 96). Таковы были наиболее существенные черты политической философии Эррио, нашедшие свое полное отражение в политике, которую проводили радикалы под его руководством.

Классовое пробуждение французского пролетариата, вдохновленного примером Великой Октябрьской социалистической революции, побудило Эррио, нового председателя партии радикалов, в 1919 г. отстаивать курс на сохранение сотрудничества с правыми партиями, сложившегося в период первой мировой войны в рамках «священного союза». Однако это сотрудничество оказалось непрочным: спад революционной волны в Европе и усиление противоречий между средними слоями и крупной буржуазией в ходе начавшегося экономического кризиса размыли объективную основу «священного союза» и повлекли за собой постепенный отход радикалов от Национального блока. В этих условиях радикалы стремились выработать собственную внутри-

и внешнеполитическую программу. Важным элементом последней явился вопрос о нормализации отношений с Советской Россией; в необходимости нормализации Эррио окончательно убедился в результате своей поездки в Москву осенью 1922 г. В 1923 г. Эррио стал лидером Картеля левых — союза радикалов, социалистов и близких к ним группировок, призванного нанести поражение правым партиям на парламентских выборах 1924 г.

Победа на выборах открыла перед Эррио возможность возглавить правительство Франции. В этот период он чувствовал себя способным решить проблемы, стоявшие перед страной, методами, отвечавшими его социально-политическим идеалам. Он стремился к непосредственному участию в руководстве государственной политикой, готовый разделить связанную с этим политическую ответственность. Эррио надеялся, что Картель станет инструментом существенного расширения буржуазной демократии, суженной в годы правления Национального блока. Но, придя к власти как противник его реакционного курса, Эррио не собирался вести решительное наступление на позиции крупного капитала. Свою задачу он видел в том, чтобы добиться лояльного сотрудничества всех слоев французской буржуазии на основе «справедливого сочетания» их интересов (2, p. 59—62).

Однако эта задача оказалась слишком сложной. Крупная буржуазия отказала вождю радикалов в сотрудничестве, боясь, что успешная деятельность правительства, опирающегося на блок левых партий, создаст опасный прецедент. Используя трудное положение казначейства, частные банки оказали на правительство финансовое давление. Исключая возможность введения мер эффективного контроля над действиями монополий, Эррио оказался бессильным перед «стеной денег». В начале 1925 г. его положение еще более осложнилось в связи с назревавшей войной с восставшими племенами рифов в Марокко: Эррио не мог начать эту войну без риска потерять поддержку социалистов, в то же время радикалы были весьма консервативны в вопросе о колониях, наличие которых связывалось с благополучием их клиентуры. Иными словами, Эррио оказался в тупике и за два дня до начала войны ушел в отставку. Единственным большим успехом первого правительства Эррио стал акт признания СССР в октябре 1924 г., получивший поддержку широких слоев французского общества.

В июле 1926 г. Эррио вновь сформировал правительство на базе Картеля. Вместе с тем, стремясь добиться доверия крупной буржуазии, он включил в состав кабинета ряд правых деятелей. Но это не помогло: на бирже вспыхнула искусственно созданная паника, курс франка резко упал. В результате голосования в парламенте правительство не получило вотума доверия.

История первого и второго правительств Эррио уже доста-

точно ясно показывала несостоятельность тактики «левого блока», проводимой в узких рамках концепции «среднего пути». В конкретной обстановке временной частичной стабилизации капитализма монополистическая буржуазия стремилась к удовлетворению только своих корыстных интересов и резко реагировала на нереализуемую угрозу Эррио оказать на нее давление, используя союз с социалистами.

После провала своего второго правительства Эррио решил прибегнуть к традиционной политике участия радикалов в кабинетах правых с тем, чтобы защищать интересы средних слоев, используя положение члена правящей коалиции. С этой целью Эррио принял предложение Р. Пуанкаре о создании нового правительственного объединения без социалистов. В сравнении с наступательной тактикой «левого блока», предполагавшей борьбу за расширение буржуазной демократии, тактика участия в кабинетах правых была оборонительной. Ее задача заключалась в том, чтобы удержать правое правительство от откровенно антидемократических шагов.

Каковы были результаты этой тактики? На первых порах, пока голоса радикалов были необходимы правым, не имевшим большинства в парламенте, Пуанкаре в какой-то мере считался с интересами радикалов и дал возможность Эррио провести ряд демократических реформ в области образования. Однако истинные результаты тактики участия показали выборы 1928 г., на которых радикалы потерпели поражение. В глазах избирателей их политика была своего рода признанием того, что блок «левых партий» не в состоянии создать стабильного правительства, что это способны сделать лишь правые партии. Получив самостоятельное большинство, партии крупного капитала развернули широкое наступление на интересы народных масс, не оглядываясь более на позиции радикалов. В этих условиях тактика участия теряла смысл, Эррио и его коллеги перешли в оппозицию.

Эгоистическая политика правых, особенно больно ударившая по широким слоям французского общества на фоне мирового экономического кризиса рубежа 30-х годов, привела к крупной победе радикалов и социалистов на парламентских выборах 1932 г. Возникла возможность создания нового левого блока, более сильного, чем Картель 1924 г. Однако полагая, что именно блок с социалистами был причиной его неудач в 1924—1926 гг., Эррио сформировал свое новое правительство, опираясь на партии центра и правого центра. В условиях экономического кризиса это решение было обусловлено еще и тем обстоятельством, что Эррио не видел возможности устойчивого сотрудничества с социалистами, предлагавшими определенные антимонополистические реформы. Отрицая необходимость радикального преобразования существующего строя, Эррио вынужден был считаться с тем, что состояние экономики страны определялось положе-

нием дел в ведущих отраслях промышленности, контролируемых монополиями. И Эррио боялся, что реформы лишь подорвут конкурентоспособность французской промышленности и затруднят для монополий выход из кризиса. Поскольку к тому же состояние экономики определяло обороноспособность страны, лидер радикалов склонялся к выводу, что борьба против монополий в обстановке нарастающей международной напряженности может нанести ущерб национальным интересам Франции. Таким образом, победив на выборах под лозунгом демократических перемен, Эррио не видел возможности приступить к их осуществлению. Поэтому, несмотря на солидное левое большинство в парламенте, новое правительство Эррио предложило ту же тактику ограниченной обороны против нажима монополий, которую радикалы проводили в правительстве Пуанкаре.

Однако такая «умеренность» стала причиной быстрого поражения правительства. Социалисты и левое крыло радикалов были недовольны консервативным курсом Эррио и требовали более решительных шагов. Правые, опасаясь, что он уступит нажиму слева, вскоре также начали атаковать правительство. В итоге через пять месяцев после прихода к власти Эррио вновь оказался в весьма затруднительном положении. Логика событий поставила лидера радикалов перед выбором: либо начать активную борьбу против монополий, либо открыто встать на сторону правых. Уход в отставку в декабре 1932 г. из-за разногласий с парламентом по внешнеполитическому вопросу позволил Эррио уклониться от выбора, но не смог скрыть провала его внутриполитического курса. Вся глубина его вскрылась в течение следующего года, когда пять сменивших друг друга правительств, следовавших тактике Эррио, своей слабостью и нежизнеспособностью дискредитировали идею парламентского режима.

Этим воспользовались крайне правые: 6 февраля 1934 г. во Франции была предпринята попытка фашистского мятежа. Как реагировал на него вождь радикалов? Его испугали и факт открытого выступления фашистов, и активность рабочего класса при его разгроме. Боясь гражданской войны и прекрасно зная, кто стоит за спинами мятежников, Эррио посчитал, что лучший способ стабилизировать обстановку — пойти на уступки правым в надежде, что это удержит их от дальнейших попыток установления авторитарного режима. После мятежа радикалы отказались от центристской тактики и вновь пошли на коалицию с правыми, согласившись на прежнюю роль младшего партнера. Таким образом, крупная победа радикалов на выборах 1932 г. оказалась бесплодной.

Приход правых к власти усилил антидемократические тенденции в экономической и политической жизни Франции. И было очевидно, что радикалы и другие центристские партии не способны преградить дорогу реакции. Это мог сделать только союз всех левых сил.

В 1936 г. Народный фронт, созданный по инициативе коммунистов и включивший радикалов, одержал победу на выборах. Однако Эррио не верил в успех этого союза, оценивая его как ухудшенный вариант Картеля левых (5, p. 409—412). С другой стороны, недавний горький опыт убедительно показал и всю опасность союза с правыми. Реакцией Эррио на создавшееся положение было стремление уклониться от прямой ответственности за судьбу партии и страны в целом. Он оставил пост председателя партии и не принимал более участия в правительственной деятельности. Эррио занял пост председателя Палаты депутатов, поскольку в III Республике эта почетная обязанность предписывала ему роль надпартийного арбитра и тем самым освобождала от активного участия в политической борьбе. Таким образом Эррио как бы признал, что в напряженный исторический момент он не видит возможности решить стоящие перед страной проблемы с помощью методов, отвечавших его идеалам буржуазного демократа. Однако огромный авторитет Эррио в партии не позволил ему полностью уйти в тень. Он был вынужден оказывать поддержку другим лидерам радикалов, пытавшимся решить те же проблемы теми же методами. На этом пути он фактически поддержал и политику «невмешательства» (4, v. 1, p. 216) и мюнхенские соглашения (3, 1938, 12 sept., 30 oct.), хотя и понимал всю их неприглядность. Порочность политики радикалов, вызвавшей распад Народного фронта, со всей силой обнаружила себя летом 1940 г.: военное поражение той Франции, которая считалась современниками «республикой радикалов», было во многом поражением политики «среднего пути» как во внутреннем, так и во внешнеполитическом аспектах.

Годы оккупации не составили героических страниц в биографии Эррио, находившегося в пассивной оппозиции режиму «Виши». Тем не менее, не запятнав своей репутации в махинациях вишистов, Эррио получил возможность принять активное участие в политической жизни послевоенной Франции. Победа СССР и его союзников над фашизмом открыла новую страницу в истории Франции, и послевоенная обстановка неожиданно вновь выдвинула Эррио на первый план политической борьбы. Он оказался желанным вождем для многих мелких и средних собственников, более всего страшившихся резких перемен, которые они связывали как с де Голлем, так и с небывало усилившимися коммунистами. Эррио быстро восстановил партию радикалов, фактически самораспустившуюся в годы войны, и вновь попытался проводить прежний политический курс. Однако в его рамках произошел существенный сдвиг акцентов: если в предвоенный период лидер радикалов направлял свои основные усилия на защиту средних слоев от реакционной политики крупной буржуазии, то в послевоенный период в качестве главной опасности Эррио рассматривал коммунистов.

Ради ослабления коммунистов Эррио пошел на компромиссы, ранее казавшиеся ему недопустимыми: в 1947 г. заключил союз с деголлевцами несмотря на то, что всегда был противником идеи авторитарной власти; затем принял участие в создании «третьей силы» — блока с католиками (МРП), что противоречило давним антиклерикальным традициям радикалов. Последствия такого курса не замедлили отразиться на облике партии и пагубно проявили себя во внутренней жизни и во внешней политике страны. Эррио понял это в 1952 г. в связи с появлением Парижского договора, посредством которого реакционные силы стремились открыть путь ремилитаризации Западной Германии. Патриотические чувства Эррио не могли примириться с этим договором. Но оказалось, что он может бороться против него, только выступив за переориентацию влево самой партии радикалов. Однако это было не под силу даже «патриарху радикализма»: попытка переориентации привела к расколу, и к концу 1955 г. партия перестала существовать как единое целое.

Эта неудачная борьба за партию стала последней крупной политической акцией Эррио. Он скончался 27 марта 1957 г., не дожив трех месяцев до своего 85-летнего юбилея. Национальное собрание Франции объявило день похорон Эррио днем национального траура.

Практика политической борьбы Эррио показывает несостоятельность «среднего пути» как попытки немонополистических слоев буржуазии разрешить, опираясь на свои общественно-политические идеалы, коренные проблемы, стоящие перед современным буржуазным обществом. Огромный авторитет, опыт и блестящие способности Эррио как политика, а также его искренняя убежденность в справедливости своих демократических и республиканских идеалов лишь подчеркивают объективный характер его неудач и, следовательно, объективный характер этого вывода.

Литература

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч.
2. Herriot Ed. Pourquoi je suis radical-socialiste. Paris, 1928.
3. L'ère nouvelle Paris.
4. Les événements survenus en France de 1933 à 1945. Témoignages et documents recueillis par la Comission d'Enquête parlementaire. Paris, 1946.
5. Parti républican radical et radical-socialist. Neuvième congrès du parti républican radical et radical-socialist tenu à Nantes les 7—10 octobre 1909. Paris, 1909.
6. 19e Congrès du parti républican radical et radical-socialist tenu à Marselle les 16, 17 et 18 novembre 1922. Paris, 1922.
7. 34e Congrès du parti républican radical et radical-socialist tenu à Lille les 27—31 octobre 1937. Paris, 1937.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

Античность и средние века

Фролов Э. Д. (Ленингр. ун-т). Политические лидеры афинской демократии (опыт типологической характеристики) 6

Зайцев А. И. (Ленингр. ун-т). Перикл и его преемники (к вопросу о приемах политического руководства в древности) 23

Гуторов В. А. (Ленингр. ун-т). Политическая теория и политическая практика эпохи кризиса греческого полиса (о платоновском государственном деятеле) 28

Егоров А. Б. (Ленингр. ун-т). О персональном факторе в истории Римской империи 37

Лебедев Г. С. (Ленингр. ун-т). Конунги-викинги (к характеристике типа раннефеодального деятеля в Скандинавии) . . . 44

Завражин В. Н. (Ленингр. гос. ин-т). Внешнеполитическая деятельность Иоанна Кантакузина в свете теории византийского ойкуменизма (по материалам «Истории» Иоанна Кантакузина) . 53

Малинин Ю. П. (Ленингр. пед. ин-т). Мораль и политика во Франции во второй половине XV в. (Филипп де Коммин) 59

Новое время

Копосова Н. А. (Библ. АН СССР), *Копосов Н. Е.* (Ленингр. ун-т). Уроки Кольбера интендантам 66

Коротков С. Н. (Ленингр. ун-т). Буржуа-монтаньяр в революции: взгляды и деятельность Жозефа Камбона 73

Ширяев Б. А. (Ленингр. ун-т). Александр Гамильтон — представитель плеяды «отцов-основателей» США 79

Стецкевич М. С. (Музей истории религии и атеизма АН СССР). Основные идеи внешней политики Каслри 84

Прошина Е. М. (Ленингр. ун-т). Бланки — политический мыслитель и революционер 90

Сергеев В. В. (Калининград. ун-т). Пальмерстон и революционная Европа 1848—1849 гг. 96

Монахов В. М. (Ленингр. пед. ин-т). У. Г. Сьюард — политический деятель эпохи домонополистического капитализма в США . . 102

Мирская Е. З. (Лит. газета). Теоретический и политический аспекты в творчестве и деятельности Антонио Лабриолы 108

Стрельченко Н. Б. (Ленингр. ун-т). Эдуар Эррио: теория и практика «среднего пути» 113